



Сергей Игоревич Ачильдиев
Постижение Петербурга. В чем смысл
и предназначение Северной столицы
Серия «Всё о Санкт-Петербурге»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11656241

Постижение Петербурга. В чем смысл и предназначение Северной столицы./ Ачильдиев С.И.:

Центрполиграф; Москва; 2015

ISBN 978-5-227-05997-0

Аннотация

Это – книга-размышление о Петербурге. В чем смысл и предназначение Петербурга? Зачем он был основан и почему именно здесь, в самом устье Невы? Какова роль этого города в истории России, его место в Европе и мире? Как со временем трансформировались образ и характер Северной столицы? Каким на протяжении разных эпох представлен Петербург в литературе, живописи, музыке и каким его видели сами жители? Каково значение интеллигенции для становления городского самосознания? Что такое «петербургский стиль»? Какое будущее ожидает вторую столицу России? Таков круг основных тем, затронутых автором. Без преувеличения эту работу можно расценить как продолжение знаменитой книги Николая Анциферова «Душа Петербурга» (1922). Издание адресовано всем, кто интересуется историей России и Северной столицы.

Содержание

В гостях у Раскольникова	6
Месте гения	9
Небывальщина	16
Жестокий «парадиз»	32
Пётр Первый. Кровь вторая	45
За окном	68
Конец ознакомительного фрагмента.	71

Сергей Игоревич Ачильдиев

Постижение Петербурга. В чем смысл и предназначение Северной столицы

*Памяти моих друзей Ильи Гуркова, Бориса Скрадоля, Аркадия
Спички*

Постижение Петербурга





В гостях у Раскольников

Из тяжёлых, подпираемых крышами туч сеет мелкий дождичек. Резкие порывы ветра пронизывают насквозь. Температура – чуть выше нуля, влажность – под сто процентов. Идёшь, словно по дну моря. Нормальная питерская погода...

В преддверии трёхсотлетнего юбилея города старую Сенную площадь, чрево Питера, уже начали теснить новомодные торговые павильоны с затемнёнными стёклами. Но пока здесь по-прежнему кишит народ: крикливые цыганки и небритые кавказцы, интеллигенты с пудовыми кошёлками и тихие старушки с вязаными шерстяными носками по двадцатке, бомжи и приبلудные собаки. Кто продаёт, кто покупает, кто надеется на милостыню, а кто просто норовит стянуть, что плохо лежит.

Выбираюсь из этой толчи к переулку Гривцова. Изначально он именовался Конным, и в «Преступлении и наказании» обозначен как «К-ный». А значит, вот оно, то самое место: здесь, ««у самого К-ного переулка, на углу», Раскольников случайно услышал разговор, из которого понял, что ««завтра, ровно в семь вечера», Алёна Ивановна, знакомая ему старуха-процентщица, ««останется дома одна».

В сотне шагов – мост через канал Грибоедова, бывший Екатерининский. В романе он упоминается неоднократно и всякий раз презрительно – «канавка». С тех пор вода стала чуть чище, мальчишки даже ловят в ней рыбу. Но, говорят, этот улов не едят даже кошки.

Сразу за мостом поворот налево: Гражданская улица (бывшая Средняя Мещанская) – узкая, тихая и чистенькая, впритык уставленная теми же четырёх-пятиэтажными домами.

Вот и пересечение Гражданской со Столярным переулком, а на нём то самое здание, известное как «дом Раскольников». Тесная подворотня, на редкость ухоженный двор и ничем не приметная дверь в первый правый подъезд. Внутри – узкая крутая лестница. Тут же на стене аккуратно выведено фломастером: ««Вперёд к Роде!», – и стрелка вверх.

Медленно одолеваю первый пролёт, второй, третий... С каждым этажом надписей на стенах всё больше. На четвёртом они уже наползают друг на друга.

Самое распространённое – объяснения в любви:

««Родя – ты прикольный чел.!»;

««Хоть я не фанатка Достоевского, но я люблю тебя, Родя! Инна, 10-а»;

««Пусть всегда будет Родя!»;

Ему, кумиру, здесь адресованы целые лирические послания:

««Родя! Это место твой храм...Мы поставим свечку в твоём храме. Свеча погаснет, но её свет останется в нас. Он вечен, как вечна жизнь. Ты бессмертен»;

«За ни за что тебе спасибо,

за ни за что тебе, мой друг.

И, словно тень, проходит мимо

волнобаржовый бороздюк! Морозный. Псков».

Есть и явные следы молодёжной агрессивности:

«Бей старух, спасай Россию!»;

«Родя, убей мою соседку!!! P.S. Пожалуйста».

Рядом краткие философские эссе:

«Родя! Ты не её убил, а себя! Мурка, Апп, М.-О.»;

«Раскольников тоже не знал, зачем он шёл к Сонечке – ему нужны были её слёзы... Маша»;

«Дорогой мой Родя! Ты – дурак! И зачем, зачем ты сделал это?! Но ты выстрадал – и этим возродился... Твои Наташа и Катя!»;

«Родя, не обманывай себя, ведь ты любишь смерть, я тоже её люблю» (ниже приписка: «Ну и дурак»).

Наконец, под самой крышей, – низкая дверь. Та самая, за которой в каморке, более походившей на шкаф, обитал Родион Раскольников. К этой двери ведут тринадцать ступеней, отделяющие каморку от последнего, четвёртого этажа. Сразу вспомнилось: «Он... прислушался, схватил шляпу и стал сходить свои тринадцать ступеней». Справа от косяка старательно выведено белой краской: «Ждите меня, и я вернусь. Вернусь однозначно! Родя».

Берусь за дверную ручку и осторожно тяну на себя. Нет ни каморки, ни «трёх старых стульев, не совсем исправных», ни «крашеного стола в углу», ни «неуклюжей большой софы». Только укрытый полустлевыми тряпками полосатый матрас, пустая водочная бутылка, пара грязных тарелок и уходящий куда-то вдаль засиженный голубями чердак: бомжеубежище.

В этот момент на четвёртом этаже – где жила хозяйка, у которой квартировал Раскольников, – щёлкает дверной замок, и передо мной возникает строгая старуха в видавшем виде плаще и шляпке «были и мы молодыми».

– Также гадости малюешь?! – вопрошает она, грозно стукнув длинным зонтом об каменный пол.

– Да нет, я только читаю.

– Нашёл, что читать! Глупости всякие, особенно про старух. Страшный дом, и жить тут страшно. Вон моя внучечка, начиталась да пошла на меня с топором. «Хочу, – кричит, – жить одна!». А чем мы, старухи, вам помешали? Дотягиваем своё в нищете. Пенсия такая – без топора помрёшь!..

И она ползёт вниз, кляня дороговизну, дурацкие надписи на стенах и современную молодёжь. С каждым пролётом лестницы стук каблучков и зонтика всё глуше. Потом где-то внизу бабахает входная дверь на тугой пружине, и лестница снова затихает. Только муха, жужжа, бьётся в оконное стекло...

Петербург – город, как известно, мистический. Ещё Гоголю здесь примерещился нос, разгуливающий сам по себе, Блоку – «Христос в белом венчике из роз», по Михайловскому замку, говорят, и теперь время от времени бродит, скрипя паркетом и тяжело вздыхая, призрак императора Павла... И тем не менее, кто мне поверит, расскажи я про эту старуху и её внучку, которая, живя в «доме Раскольникова», ринулась на родную бабушку с топором? Я бы не поверил, сказал бы: выдумки! Потому что сам не знал, как объяснить столь частые, но всегда такие удивительные столкновения петербургского прошлого с настоящим, реального с вымышленным...

Спускаюсь вниз и сворачиваю в подворотню. Справа в стене, несколькими ступеньками ниже асфальта, чернеет дверь. Та самая – в старую дворницкую, тоже чуть приоткрытая, как и тогда, когда подворотню миновал Раскольников, направляясь к Алёне Ивановне. Но я уже не проверяю, лежит ли там по-прежнему топор под лавкой, и выскакиваю на улицу.

Дождь перестал, ветер утих. Стало почти темно, однако фонари пока не зажигали. В вечерней мгле всё кажется ещё более призрачным, размытым, ирреальным. Возвращаюсь на Сенную и шагаю по Садовой в сторону Невского...

А на следующий день отправляюсь в библиотеку, и начинается новое путешествие – по научным трактатам, мемуарам, трёхвековой художественной литературе города. И постепенно петербургский материк вырастает передо мной во всё своём трагедийном величии. Город-счастливец и город-страдалец. Город грандиозных замыслов и несбывшихся надежд. Город немеркнувшего мужества и позорного безволия. Неповторимый в своём исто-

рическом центре и заурядный в спальнях районах. Богатый и бедный. Независимо-строптивый и покорно-послушный. Любимый и проклинаемый...

Шаг за шагом неясное и загадочное становилось – во всяком случае, так мне чудилось – ясным. И тогда появлялись отдельные заметки, цитаты, и размышления складывались в очерки. Но тут же вырастали новые вопросы, и вновь надо было отыскивать тропки в этом тёмном, топком лесу, пытаясь понять причинноследственную связь событий, неожиданность исторических метаморфоз, игру человеческих судеб и поступков.

Наконец, книга вроде бы сложилась. Оставалось отнести её в издательство. Но, перечитав написанное, я с ужасом убедился, что до окончания работы ещё очень далеко. Слишком многое осталось невыясненным, недосказанным, необъяснённым... И тогда стали возникать новые главки и очерки.

Так продолжалось до тех пор, пока я, в конце концов, не понял: написать эту книгу до конца невозможно. Потому что постижение Петербурга может быть только процессом, таким же огромным и нескончаемым, как сам город. И авторская цель вовсе не в том, чтобы отыскать ответы на все вопросы. Она гораздо скромней – чтобы будущий читатель стал соавтором этих заметок.

... Книга вышла в конце 2006 года. Она получила немало положительных откликов. Но были и отрицательные. И я им тоже был по-своему рад: значит, моя работа не оставила читателей равнодушными. Причём интерес к книге не угасал даже после того, как весь тираж давно разошёлся. Кто-то просил почитать авторский экземпляр, кто-то отыскивал текст в Интернете, кто-то спрашивал, где можно купить книгу в бумажном варианте...

Но главное – читатели интересовались, почему я ничего не написал про такую-то эпоху, про таких-то знаменитостей и про такую-то коллизию в истории Петербурга, и мне нечего было ответить, потому что читатели были правы. Тем более я и сам уже подумывал о том, чтобы вернуться к этой книжке. И потихоньку даже начал собирать материал и размышлять над некоторыми темами. И чем дальше, тем больше захватывала меня эта работа. Может быть, даже сильнее, чем в первый раз.

Так родился новый вариант книги. Последний ли? Бог весть...

Месте гения

*В минувшее гляжу... Так из окна,
Что в комнате на верхнем этаже,
глядят во двор-колодец: мутный взгляд
летит, вертясь, цепляясь за карнизы,
туда, туда – где мусорные баки,
заплёванные крышки водостоков,
исхоженный, измученный асфальт
и редкие случайные шаги...*

Александр Вагин

Одна из самых трудных загадок, которые хранит Петербург, – что считать его божеством, духом-хранителем, *genius loci*?

Как только ни называли этот город!

Фёдор Головин, один из сподвижников Петра I, нарёк едва народившийся городок на Неве Петрополем [12. С. 88]. Потом, очень скоро, появилось новое имя, тут же ставшее официальным, – Санктпитебурх. Первая часть – из латыни, вторая и третья – из голландского. И нет ничего удивительного, что народ сразу и навсегда сократил сей заковыристый триптих до простого и общепонятного – Питер. Именно так: на голландский манер. Потому что в ту пору учителями были голландцы, да и сам Пётр с удовольствием откликнулся на «Питера». Когда и почему произошла перелицовка в немецкий «Санкт-Петербург», неизвестно до сих пор. Можно только догадываться, что самим жителям вся эта иностранщина была не очень-то по сердцу. Частенько они всё же называли город чисто по-русски: Петроград. Помните, у Пушкина в «Медном всаднике»: «Над омрачённым Петроградом / Дышал ноябрь осенним хладом» [16. Т. 4. С. 384]?

Кроме того, многие ещё при жизни царя-основателя обходились без всякого «Санкт», словно запамятавав, что новая столица поименована в честь апостола, а вовсе не царя Петра. Что ж, дело понятное – до святого далеко, а до государя, который разгуливает по городским стройкам с увесистой палкой, – ох, как близко. К тому же сам царь, с присущей ему скромностью, на забвение святости имени города никому не пенял.

Спустя 211 лет после рождения, 18 августа 1914 года, в антинемецком угаре в связи с начавшейся войной Санкт-Петербург – по инициативе Николая II – был переименован в Петроград. Решение славянизировать имя столицы было сущей нелепостью. Ведь воевать взялись не с немецким языком и даже не с немецким народом, а с германским государством (кстати, в ту войну, соблюдая полную, как сказали бы сейчас, политкорректность, противника именовали – и официально, и в уличной толпе – не немцем, а именно германцем). Но главное – город, таким образом, лишался своего небесного покровителя. И уж совсем было обидно, что новое название ставило северную столицу в один ряд с Елисаветградом (Херсонской губ.), Константиноградом (Полтавской губ.), Новоградом (Волинской губ.), Павлоградом (Екатеринославской губ.)...

Многие горожане, обладавшие иммунитетом против националистической бациллы, выражали недовольство сменой имени столицы. Художник Константин Сомов называл это позором [19. С. 10]. Александр Бенуа часто повторял, что это наименее простительная ошибка из всех многочисленных ошибок Николая II, ибо она – «измена Петербургу» [8. С. 320]. Даже некоторые представители самой власти были против инициативы царя. Бывший

министр народного просвещения, а в ту пору петербургский голова Иван Толстой записал в личном дневнике: «Такого рода шовинизм мне совсем не нравится, являясь довольно печальным предзнаменованием...» [9. С. 189].

Однако недаром подмечено, что чехарда с переименованиями – одна из любимых русских забав. Всего через два дня после смерти первого большевистского вождя, 26 января 1924 года, по решению II Всесоюзного съезда Советов город получил новое официальное имя: Ленинград. Именной ряд выстраивался явно по нисходящей: от святого – к помазаннику Божьему, а от него – и вовсе к политическому деятелю с сомнительной репутацией. Но в стране воинствующего атеизма это уже мало кто замечал. Новый угар, вождистского фанатизма, туманил головы. Причём настолько, что даже «некоторые ретивые цензоры требовали переименовать петрографию в ленинграфию...» [15. С. 318].

Справедливость восторжествовала только 6 сентября 1991 года, когда в результате городского референдума Ленинград, наконец, снова стал Санкт-Петербургом.

Параллельные заметки. Кстати, по-разному называли этот город не только в самой России, но нередко и за рубежом. Историк Михаил Талалай отмечает, что до сих пор «греки называют наш город Петрополь (точнее, Агия-Петрополис), чехи со словаками – Петроград (без приставки Свято-), финны – Пиетари» [20. С. 254].

Впрочем, метафорических названий у города было намного больше.

Пётр I любовно сравнивал своё детище с «парадизом», раем земным. Кроме того, царь частенько величал юную столицу то «северным Амстердамом», то «северной Венецией». В таких ассоциациях для него раскрывались две важнейшие ипостаси будущего города – функциональная и архитектурная: новая столица России должна была вырасти в крупнейший порт и стоять на реках и каналах. Обычно все деспоты – великие мечтатели, и невский мечтатель мало чем отличался от своего кремлёвского наследника.

При Екатерине II столицу стали вдобавок называть «Северной Пальмирой», намекая тем самым на сравнение российской императрицы с прославленной Зиновией, властительницей древней сирийской Пальмиры, которая противостояла всесильному Риму.

Однако гордая мечта основателей и первостроителей Петербурга в дальнейшем кое-кому стала казаться одним из проявлений пресловутого русского квасного патриотизма, стремлением заткнуть за пояс весь мир, а потому все эти величественные эпитеты они заменили ироничным: «северная вторичность». В частности, Александр Герцен с насмешкой утверждал, что «...Петербург тем и отличается от всех городов европейских, что он на все похож...» [10. Т. 2. С. 392].

Поэты любили именовать Петербург «Петрополем» или «Петрополисом» (от греч. petros – камень, polis – город). Захватившие власть коммунисты – «городом Ленина» и «колыбелью революции». Журналисты, уже на моей памяти, – «великим городом с областной судьбой». Наконец, на исходе XX века первый президент России Борис Ельцин подписал указ о присвоении Петербургу звания «культурной столицы». Но чего в таком статусе оказалось больше – уважения или горестной насмешки, – понять было трудно, ведь почти все ведущие центры культуры, а также большинство выдающихся деятелей на этом поприще давно находились в Москве.

Собрание определений, которые когда-либо давали Петербургу, настолько обширно, а главное, разношёрстно, что подчас даже не верится, будто всё это сказано об одном и том же городе. Николай Карамзин называл Петербург «блестящей ошибкой», Тарас Шевченко – «городом-упырём», Фёдор Достоевский – «умышленным», «самым угрюмым» и «самым фантастическим из всех городов земного шара», Константин Аксаков – «памятником насилья», Николай Некрасов – «роковым», Александр Блок – «неуловимым», Николай

Бердяев – «катастрофическим», Николай Агнивцев – «гранитным барином», «блистательным» и «странным».

Ещё говорили: «город-выскачка», «город-декорация», «город-театр», «город-компиляция», «город-Вавилон» и, наконец, «четвёртый Рим» (в противовес Москве – «третьему Риму»).

В народе Питер «любовно» именовали «полковой канцелярией», «чиновничьим департаментом»; говорили: «Питер все бока вытер», «Кому город, а кому и враг»...

* * *

Какофония названий и прозвищ отражала не только переменчивый российский политический климат да наш особый талант выдумывать всякие клички, но также неуловимость сущности этого города, неустанную попытку его разгадать.

Петербургское краеведение можно смело назвать ровесником самого города. Ещё в 1704 году вместе с пятью сотнями моряков, которые были завербованы в Нидерландах для строящихся русских кораблей, на берега Невы прибыл флотский капеллан Вильгельм Толле. Став духовным отцом лютеранской общины города, он вскоре первым взялся за систематическое изучение местной природы, этнографии, истории, и не только у себя в кабинете, но также на местности – в частности, собирал ботанические коллекции на Островах и проводил археологические раскопки в Старой Ладобе [14. С. 58].

К тем же, первым годам существования Петербурга, когда он был ещё крепостью, относится и одно из первых его изображений. Правда, сделано оно было не краеведами, а противниками-шведами, которые создали «План основания крепости и города С.-Петербурга в 1703–1705 гг.». «В пояснительном тексте приводится сообщение шведского генерал-лейтенанта И.Г. Майделя от 24 июля 1704 г.: “Петербург очень хорошо основан и укреплен; его положение таково, что он может стать одновременно и сильной крепостью, и процветающим торговым городом; если царь сохранит его в течение нескольких лет, то его власть на море станет значительной”» [5. С. 46]. Подлинник этого документа до сих пор хранится в Швеции.

В дальнейшем традиции петербургского краеведения развивали Антиох Кантемир («Описание Кронштадта и Петербурга», 1738), Андрей Богданов («Историческое, географическое и топографическое описание Санктпетербурга от начала заведения его по 1751 год», 1779), Иоганн Георги («Описание российско-императорского города Санктпетербурга и достопамятностей в окрестностях онога», 1794), Ф. Шрёдер («Новейший путеводитель по Санктпетербургу», 1820), Павел Свиньин («Достопамятности Санкт-Петербурга», публиковались отдельными выпусками с 1816 по 1828 год и были иллюстрированы гравюрами С. Галанскова по рисункам самого автора), Александр Башуцкий («Панорама Санктпетербурга», 1834), Иван Пушкарёв («Исторический указатель достопамятностей Петербурга», 1846), Владимир Михневич («Петербург весь на ладони», 1874) и многие другие.

Особое место в исторической петербургиане, несомненно, занимают труды Михаила Пыляева, прежде всего его «Старый Петербург» (1887) и «Забытое прошлое окрестностей Петербурга» (1889), а также книги Петра Столпянского «Петербург. Как возник, основался и рос Санкт-Питер-Бурх» (1918), «Петропавловская крепость» (1923), «Музыка в старом Петербурге» (1926) и другие (к сожалению, хранящийся в Российской национальной библиотеке огромный архив исследователя, включающий, в частности, свыше миллиона библиографических карточек, до сих пор доступен только узкому кругу специалистов).

Зарождавшийся на рубеже XX века российский «серебряный век» сразу обрёл явно выраженный петербургский акцент. Причём выразилось это не только в искусстве, но и в краеведении, которое благодаря работам мирискусников – прежде всего Александра Бенуа, Игоря Грабаря, Мстислава Добужинского, а также их младших современников, в частности,

Георгия Лукомского и Владимира Курбатова, – поднялось на уровень поиска петербургской самоидентификации.

Но расцветом петербурговедения, его «золотым десятилетием» по праву считаются конец 1910-х – 1920-е годы. Причём, как это нередко бывало в России, не благодаря сложившимся условиям, а вопреки им. В те годы Петроград, вместе со всей Россией, переживал культурную катастрофу: подозрение, а зачастую и прямое обвинение в политической неблагонадёжности, закрытие частных учебных заведений, падение или полное отсутствие спроса на такие отрасли гуманитарных знаний, как история религии и церкви, медиевистика и востоковедение, философия и история философских знаний, – всё это лишило работы многих высококвалифицированных специалистов. Значительная часть гуманитарной интеллигенции бывшей столицы оказалась вытесненной на обочину интеллектуальной и общественной жизни. И петербурговедение явилось для неё той отдушиной, где она ещё могла применить свои знания и творческую активность. В этой новой реальности «экскурсионный институт и общество “Старый Петербург” стали методическими центрами для всей России» [13. С. 25].

Именно тогда началось научное осознание петербургского социально-урбанистического феномена. Иван Гревс, крупный специалист по истории античного мира и Средневековья, ввёл в отечественную науку «определение города как личности... новое понимание города как системы, исторически сложившейся “целокупности”. Главное – не архитектурные шедевры, не монументы, не ландшафты. Главное – соединение, слияние, взаимодействие и взаимопроникновение всего того, что определяет влияющую на людей их жизненную среду.» [6. С. 136].

Иван Гревс, его товарищи и последователи, опираясь на исторические факты, поставили принципиально новые вопросы, превратившие краеведение в научную дисциплину. В чём глубинный смысл и высшее предназначение Петербурга? Зачем он был основан и почему именно здесь? Какова его роль для России и каково его место в Европе и мире? Как со временем трансформировались образ, характер и стиль этого города? Какой на протяжении разных эпох представляла северная столица в литературе, живописи, музыке и какой видели её сами жители? Каким, наконец, видится будущее Петербурга?..

* * *

Пожалуй, один из самых сложных вопросов, на которые вот уже почти сто лет пытаются дать ответ петербурговедение, – вопрос о гении места, божестве, духе-хранителе Санкт-Петербурга: *genius loci*.

Понятие это уходит в глубину тысячелетий, когда религия ещё не знала не только монобожия, но и кровавых жертвоприношений. В те незапамятные времена божеству места люди приносили цветы и делали возлияния вином и молоком. В Петербурге таким местом многие считают воздвигнутый в 1782 году памятник Петру I работы Этьена Фальконе. Вино и молоко, само собой, никто к подножию памятника никогда не приносил, но цветы у гром-камня и нынче можно увидеть даже в лютые морозы. В городе давно бытует легенда, согласно которой северная столица будет жить до тех пор, пока восседает на бронзовом коне её основатель.

Однако Николай Анциферов, один из учеников Гревса, тоже считавший, что питерский гений места – Медный всадник, откровенно признавал: «...описать этот *genius loci* Петербурга сколько-нибудь точно – задача совершенно невыполнимая» [3. С. 31]. Ничего удивительного, ведь в трактовке монумента – как, впрочем, и в трактовке самой исторической фигуры Петра – всегда существовало два прямо противоположных мнения.

Одно – официально-державное. «Крутизна горы суть препятствия, кои Пётр имел, производя в действо свои намерения, – писал Александр Радищев другу в Тобольск сразу после торжества по случаю открытия памятника, – змея, в пути лежащая, коварство и злоба, искавшие кончины его за введение новых нравов; древняя одежда, звериная кожа и весь простой убор коня и всадника суть простые и грубые нравы и непросвещение, кои Пётр нашёл в народе, который он преобразовать вознамерился; глава, лаврами венчанная, победитель бо был прежде нежели законодатель; вид мужественный и мощный и крепость преобразователя; простёртая рука покровительствующая... и взор весёлый суть внутреннее ускорение достигшия цели, и рука простёртая являет, что крепкия муж, все стремлению его противившиеся пороки, покров свой даёт всем, чадами его называющимся» [17. С. 12–13]. Трудно сказать, в какой степени сам Радищев верил в такую трактовку. Вполне возможно, он просто больше верил в любопытство отечественных почтмейстеров, а потому в письме постарался «отгадать мысли творца» в полном соответствии с тем, как их отгадывала Екатерина II. И тем не менее, не удержавшись, одну оговорку допустил: «победитель бо был прежде нежели законодатель», – явный намёк на то, что первый император чуть не ежедневно писал свои указы, но к законодательству в общепринятом понятии они не имели никакого отношения.

Городские легенды – кстати, первые появились ещё задолго до открытия памятника – объясняли монумент основателю Петербурга совсем по-иному. В одних случаях говорилось, что царь «за один скок» дважды перепрыгивал через Неву на своём коне, а на третий раз навеки замер. В других – будто Петра удержала змея, обвившая ноги коня. А в иных – что таким образом Бог наказал императора за гордыню. В 1815 году Алексей Мерзляков интерпретировал эти легенды так:

*На пламенном коне, как некий бог, летит:
Объемлют взоры всё, и длань повелевает;
Вражды, коварства змей, растоптан, умирает;
Бездушная скала приемлет жизнь и вид,
И росс бы совершён был новых дней в начале,
Но смерть рекла Петру: ««Стой! ты не бог, – не дале!» [1. С. 56].*

В 1859 году ещё критичней высказался Николай Щербина, кстати, не какой-нибудь там нигилист, а крупный чиновник Министерства внутренних дел:

*Нет, не змия Всадник медный
Растоптал, стремясь вперед, —
Растоптал народ наш бедный,
Растоптал простой народ [2. С. 167].*

Немало было и прочих авторов, видевших в Медном всаднике исключительно олицетворение тёмных сил, бед и губительного ужаса. Писатель-символист Евгений Иванов утверждал: «...он силён, как Смерть – чёрен, как бездна» [11. С. 311]. Архитектор и теоретик искусства Давид Аркин считал: «...пусть голова Змея придавлена копытом Петрова коня. – он жив и делит со Всадником владычество над городом» [4. С. 361].

Сам Александр Сергеевич Пушкин, непререкаемый гений, не мог со всей определённою разобрать, что за смысл скрывается в великом изваянии:

*Какая дума на челе!
Какая сила в нём сокрыта!*

*А в сём коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?* [16. Т. 4. С. 395].

Три восклицательных знака и всего один вопросительный, однако в действительности в этих пяти строках, которые сегодня знает каждый школьник, – сплошные вопросы. О чём же дума царя? Какая таится в нём сила? Куда он несётся и где остановится? Автор не даёт читателю ни единого ответа. Лишь в предыдущей строке – «Ужасен он в окрестной мгле!» – содержится своего рода переключек с двустрочием из «Полтавы»: «... Лик его ужасен. / Движенья быстры. Он прекрасен.» [Там же. С. 296]. Слово намёк на двойственность образа первого российского императора, которая навсегда осталась и в отечественной истории, и в литературе.

Я уж не говорю о тех многочисленных случаях, когда Медный всадник воспринимался не иначе, как всадник Апокалипсиса.

А теперь скажите: изумительный в художественном отношении, но предельно дуалистичный и оттого не поддающийся пониманию – может ли такой памятник быть полноправным гением места огромного города?.. Не лучше ли взять на эту роль иную, более однозначную скульптуру Петра I, установленную в середине 1990-х годов во дворе Петропавловской крепости?

Конечно, этот император – работы Михаила Шемякина – не столь величественен, хотя бы уже потому, что сидит не на взмывшем высоко над всеми богатырском коне, а на обычном жёстком кресле. Но это кресло и эта близость делают фигуру более понятной. Как отмечала старший научный сотрудник Пушкинского Дома Мария Виролайнен, «если памятник Фальконе – это памятник сакрализованной власти, то памятник Михаила Шемякина... отчётливо связан с десакрализацией власти, с совлечением с неё сакрального ореола» [7. С. 273]. Очевидно, поэтому даже голый, без парика, череп, свирепое выражение маленького одутловатого лица, могучее каменное тело, непонятно как передвигаемое этими худыми короткими ногами, и руки с длинными, как змеи, хищными пальцами, никого не пугают. Государство наше испокон веков было именно таким – жестоким, всесильным и неповоротливым. Страшное, но своё, а потому привычное. Во всяком случае, малые дети без малейшего страха забегают к шемякинскому Петру «на ручки», а доброхоты приносят ему цветы и частенько кладут их прямо грозному царю на колени.

* * *

Современный собиратель петербургского фольклора Наум Синдаловский рассказывает, что первый, ещё пушкинский, выпуск лицеистов решил оставить по себе память. В лицейском садике, около церковной ограды, выпускники соорудили из дёрна холм и укрепили на нём мраморную доску со словами: «Genio loci». Однако со временем земля осела, и к 1840 году самодельный памятник окончательно разрушился. Восстановить его взялись лицеисты одиннадцатого выпуска. В 1843-м Лицей переехал из Царского Села в Петербург, на Каменноостровский проспект. Вместе со всеми учебными пособиями сюда перевезли и восстановленный памятник «Гению места». На протяжении нескольких десятилетий он украшал сад нового Лицея, но потом тоже исчез под влиянием неумолимого времени [18. С. 219]. Теперь навсегда. Прошли ещё годы, и, поскольку уже мало кто помнил, как выглядел тот памятный знак, возникло предание, будто он представлял собой скульптурное изображение Пушкина...

Так, может быть, лучше всего провозгласить гением места Петербурга не один из монументов его основателю, а памятник Александру Сергеевичу? Скажем, работы Михаила Ани-

кушина, установленный на площади Искусств в 1957 году. Спору нет, власть российская всегда отличалась непомерным могуществом, да только русская культура оказывалась ещё сильнее, и её нерукотворные памятники, как известно, частенько возносились выше не то что Медного всадника, но даже самого Александрийского столпа.

Литература

1. Петербург в русской поэзии (XVIII – начало XX века): Поэтическая антология. Л., 1988.
2. Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград в русской поэзии: Антология. СПб., 2003.
3. *Анциферов Н.П.* Душа Петербурга // Анциферов Н.П. «Непостижимый город». Л., 1991.
4. *Аркин Д.Е.* Град Обречённый // Москва-Петербург: pro et contra. Диалог культур в истории национального самосознания: Антология. СПб., 2000.
5. *Базарова Т.А.* Санкт-Петербург на шведском плане начала XVIII века // Петербургские чтения-96: Материалы Энциклопедической библиотеки «Санкт-Петербург-2003». СПб., 1996.
6. *Богуславский Г. А.* 100 очерков о Петербурге. Северная столица глазами москвича. М., 2011.
7. *Виротайнен М.Н.* О петербургских идолах: два Петра // Феномен Петербурга: Труды Третьей Международной конференции, состоявшейся 20–24 августа 2001 года во Всероссийском музее А.С. Пушкина. СПб., 2006.
8. *Волков С.* История культуры Санкт-Петербурга с основания до наших дней. М., 2001.
9. *Ганелин Р.Ш., Нардова В.А.* Первая мировая война и петроградская оппозиционность // Феномен Петербурга: Труды Международной конференции, состоявшейся 3–5 ноября 1999 года во Всероссийском музее А.С. Пушкина. СПб., 2000.
10. *Герцен А.И.* Сочинения: в 9 т. М., 1955–1958.
11. *Иванов Е.П.* Всадник: Нечто о городе Петербурге // Москва-Петербург: pro et contra. Диалог культур в истории национального самосознания: Антология. СПб., 2000.
12. *Исупов К.Г.* Диалог столиц в историческом движении // Москва-Петербург. Российские столицы в исторической перспективе. М.; СПб., 2003.
13. *Кобак А.В., Марголис А.Д.* Анциферовская премия // Петербургские чтения-96: Материалы Энциклопедической библиотеки «Санкт-Петербург-2003». СПб., 1996.
14. *Лебедев Г.С.* Феномен Петербурга: архетип как прототип (Имперское наследие – генератор будущего «маргинальной столицы России») // Феномен Петербурга: Труды Второй Международной конференции, состоявшейся 27–30 ноября 2000 года во Всероссийском музее А.С. Пушкина. СПб., 2001.
15. *Любищев А.А.* Об идейном наследстве Н.В. Гоголя // Любищев А.А. Расцвет и упадок цивилизации. СПб., 2008.
16. *Пушкин А.С.* Полное собрание сочинений: В 10 т. М., 1963–1966.
17. *Радищев А.Н.* Избранные сочинения. М.; Л., 1949.
18. *Синдаловский Н.* История Санкт-Петербурга в преданиях и легендах. СПб., 1997.
19. *Соболева И.А.* Утраченный Петербург. СПб., 2012.
20. *Талалай М.* «Leningrado» или «San Pietroburgo»? (реакция в Италии на возвращение городу исторического названия) // Феномен Петербурга: Труды Третьей Международной конференции, состоявшейся 20–24 августа 2001 года во Всероссийском музее А.С. Пушкина. СПб., 2006.

Небывальщина

*О, город мой неуловимый,
Зачем над бездной ты возник?..*

Александр Блок. Возмездие

Почему Петропавловская крепость была основана, по велению Петра I, в самом устье Невы, и как она вдруг превратилась в столицу?

В этой истории почти всё известно и почти всё непонятно...

Во второй половине апреля 1703 года 16-тысячный корпус под командованием Бориса Шереметева вышел к Неве и осадил шведскую крепость Ниеншанц, стоявшую на мысу в месте впадения Охты в Неву. Через неделю начался штурм, и после 10-часовой массивной бомбардировки комендант Якоб Аполлов счёл за благо сдать фортецию, гарнизон которой состоял всего из 800 человек и 49 пушек. Произошло это 1 мая.

Других укреплений и войск у шведов поблизости не было, но не приходилось сомневаться, что очень скоро они обязательно попытаются вернуть себе и крепость, и прилегающий к ней городок Ниен. Устье Невы, открывающее путь в Балтийское море, имело важное стратегическое значение.

Как свидетельствует «Журнал, или Подённая записка Блаженныя и вечнодостоиня памяти государя императора Петра Великаго» – документ, составленный кабинет-секретарём царя Алексеем Макаровым и редактируемый лично Петром, – «по взятии Канец (Ниеншанца. – С. А.) отправлен воинский совет, тот ли шанец крепить, или иное место удобнее искать (понеже оный мал, далеко от моря, и место не гораздо крепко от природы), в котором положено искать новаго места, и по нескольких днях найдено к тому удобное место остров, который назывался Люст Елант (то есть весёлый остров), где в 16 день майя (в неделю пятидесятницы) крепость заложена и именована Санктпетербурх» [40. С. 113].

Уже в ночь на 31 августа 1703 года неожиданно взбурлившая Нева поднялась и смыла едва начатую постройку вместе с заготовленными материалами. Судя по сохранившемуся в архивах письму, которое австрийский посланник в России вскоре направил своему правительству, при этом первом петербургском наводнении погибли две тысячи русских [11. С. 608]. Но Петра подобные «мелочи» никогда не пугали. Сразу после отступления стихии возведение Петропавловской крепости было продолжено с тем же упорством и размахом.

Параллельные заметки. Молодой царь воспринимал невские наводнения как ещё одну забаву, которыми он так любил услаждать свою жизнь. В 1706 году в письме к «мин херцу» Алексашке Меншикову он с нескрываемым весельем сообщал: ««Третьего дня ветром вестзюйд такую воду нагнало, какой, сказывают, не бывало...И здесь было утешно смотреть, что люди по кровлям и по деревьям, будто во время потопа, сидели – не точию мужики, но и бабы» [34. С. 110].

Секретарь прусского посольства в России И. Фоккеродт свидетельствовал, что первым идею о возведении в невском устье крепости с гарнизоном и складами подал генерал-адмирал и великий канцлер Фёдор Головин.

Впервые топоры застучали на Заячьем острове 16 мая (27-го по н. ст.) 1703 года. Этот день и принято считать днём рождения северной столицы.

По официальной историографии и многочисленным легендам, в том числе явно верно-подданническим, долгое время считалось, что Пётр лично не только участвовал, но и руководил закладкой нового города. Такой версии долгое время придерживались многие серьёзные исследователи. Например, Михаил Пыляев, утверждавший, будто «государь положил первый камень постройке» [34. С. 10]. Что уж говорить об официальной историографии. Вот как повествовал о том знаменательном дне В. Авсеенко в панегирическом очерке истории Санкт-Петербурга, созданном накануне 200-летия города и переизданном в 1993 году в качестве «чтения для юношества»: «16 мая, в день сошествия Святого Духа...отслужена была литургия, после чего Пётр с большой свитой. присутствовал при освящении избранного места и вслед затем, с заступом в руках, подал знак к началу землекопных работ. Когда первый ров достиг уже двух аршин глубины, в него опустили высеченный из камня ящик, в который Пётр поставил золотой ковчег с частицей мощей Апостола Андрея и, закрыв ящик каменной же плитой, убрал его собственноручно вырезанными кусками дёрна» [2. С. 18].

Далее следует второй рассказ того же рода, но уже со ссылкой на некую «любопытную старинную рукопись»: «Когда Пётр взялся за заступ, с высоты спустился орёл и парил над островом. Царь, отойдя в сторону, срубил две тонкие берёзки и, соединив их верхушки, поставил стволы в выкопанные ямы. Таким образом, эти две берёзки должны были обозначать место для ворот будущей крепости. Орёл спустился и сел на берёзки; его сняли оттуда, и Пётр, обрадованный счастливым предзнаменованием, перевязал орлу ноги платком и посадил его к себе на руку. Так он взошёл, с орлом на руке, на яхту при торжественной пушечной пальбе» [2. С. 20]. И только после этого автор, видимо, несколько смущённый видом орла, который совсем по-голубиному усаживается на царской руке и даже никак не реагирует на грохот пушек, осторожно добавляет, что «сохранившиеся исторические сведения об основании Петербурга не отличаются безусловной достоверностью» [2. С. 20].

Насколько не безусловна эта достоверность, легко догадаться, вспомнив, что, по преданию, не кто иной, как орёл, указал византийскому императору Константину Великому место, где должен быть основан Константинополь. Иными словами, легенда об орле – явный официоз. Дескать, царь строил не чуждый город, как проповедовали противники Петровых реформ, а исконно русский, продолжающий незримую, но прочную связь отчизны с Византией, великой духовно-религиозной предшественницей святой Руси.

Параллельные заметки. Прошлое мировой цивилизации, насчитывающее около десяти тысячелетий, настолько многообразно, что в нём всегда отыщутся удобные для историка параллели. Как тут при мифологизации русского северного демиурга, который закладывает новую столицу, не прочертить прямые стрелы к великим его предшественникам далёких эпох!

И вот уже вспоминают Александра Македонского, основавшего в 331 году до н. э. новый полис в самом центре торговых путей и назвавшего его своим именем. Дескать, по легенде, «место для города было подсказано полководцу во сне», и план города он начертал рожью на песке [30. С. 72–73]. А ещё, конечно, выплывает из древних веков образ того же императора Константина, которому тоже, мол, накануне закладки Константинополя было «сонное видение» и являлся орёл [29. С. 259]. И вывод напрашивается сам собой: ««Мечтая создать вторую Венецию или Амстердам, государь строит третью Александрию» [30. С. 73].

В действительности, миф – не только появление орла, вещий сон и прочие «исторические подробности», но и само присутствие царя на острове в тот дорогой нам теперь день. В том же Преображенском походном журнале – или, как он в ту пору именовался, «журнале»

– говорилось, что ещё 11 мая Пётр отправился в Шлиссельбург, 14 мая побывал на сяссском устье, 16 мая проехал ещё дальше и 17 мая посетил Лодейную пристань.

Отсутствие основателя в тот день, когда закладывался город, заметно портило благостную картину начальной истории северной столицы. А потому, едва этот факт вошёл в научный оборот, нашлось немало патриотически настроенных историков, которые пытались доказать, что в день Святой Троицы Пётр всё же был на Заячьем острове. С особым жаром дискуссия разгорелась в начале XX века и продолжалась несколько лет. Но угольки того спора дотлевали ещё долго. Последним сторонником концепции царского присутствия на Заячьем острове в столь знаменательный день был Александр Шарымов. Он аргументировал свою правоту не только скрупулёзным анализом архивных материалов, но и доводами, основанными на психологии царя: «Эту крепость... Пётр просто не мог не заложить сам. Он любил обряды закладки крепостей, их освящения, наименования. Любил всё, что их окружало: праздничный шум, веселье, торжественные тосты, шутки, пушечную и ружейную пальбу, услады застолья, возможность находиться среди друзей. Такой человек – не царь, а просто человек. – не мог упустить радости участия в начале нового большого дела» [40. С. 162].

Однако единственное документальное подтверждение присутствия царя Петра на закладке крепости 16 мая – анонимная рукопись «О зачатии и здании царствующего града Санктпетербурга», издавна хранившаяся в собрании Эрмитажа и опубликованная в 1863 году в журнале «Русский архив» [31. С. 43]. В ней и рассказывается апокрифическая история про то, как царь Пётр соединил вершины двух берёзок, как появился орёл и всё остальное.

Допустим, Пётр 16 мая и вправду участвовал в основании города. Но тогда закладка крепости наверняка ознаменовалась бы «праздничным шумом, весельем, торжественными тостами, шутками, пушечной и ружейной пальбой», которые царь – в этом Александр Шарымов совершенно прав – действительно любил. Между тем ни документальных свидетельств, ни даже легенд об этом не существует. Зато хорошо известно, что 29 июня, когда в день святых Петра и Павла на острове был заложен храм обоих апостолов, торжества и вправду состоялись, в частности «был отправлен банкет уже в новых казармах» [34. С. 11].

На самом деле нет ничего противоестественного в том, что 16 мая Пётр находился в Лодейном Поле, а значит, своими руками «царствующий град» не основывал. Ведь ни о каком городе, а тем более о новой столице, он тогда ещё не помышлял, речь шла, повторяю, только о крепости. А также о возможной царской резиденции. 7 мая канцлер Фёдор Головин направил письмо послу при польском дворе, и тот, на основании этого послания, известил местный дипломатический корпус, что «царское величество... в нынешнем времени от неприятеля немалую крепость взял и порт на Балтийском море... где ещё *может* (курсив мой. – С. А.) заложить и свою монаршескую резиденцию, чего ради его государство лутчие будет иметь с их государствами торги и корешпонденцию» [8. С. 280].

И по поводу того, в какой день новый город получил своё имя, долгое время тоже не было ясности. В уже упоминавшемся «Журнале, или Поденной записке» говорилось: «... в 16 день майя (в неделю пятидесятницы) крепость заложена и именована Санктпетербург». Да и один из сподвижников царя Феофан Прокопович в «Истории Петра Великого» писал: «Когда же заключён был совет быть фортеции на упомянутом островку и нарицати ея оной именем Петра Апостола Санктпетербург». В 1885 году П.Н. Петров, автор «Истории Санкт-Петербурга», первым усомнился в этой дате наименования новорождённого града. «Он вообще заявил, что город основан не 16 мая, а 29 июня, и именно с этого дня нужно вести отсчёт его истории, – пишет один из самых глубоких современных исследователей первого века жизни северной столицы Евгений Анисимов и объясняет: – Петров сделал столь неожиданный для многих вывод потому, что в исторических документах до 29 июня название города не упоминается вовсе, и только с Петрова дня, когда митрополит Новгород-

ский Иов освятил деревянную церковь во имя святых апостолов Петра и Павла на Заячьем острове, в документах появляется название “Санкт-Петербург”» [6. С. 38–39]. Той же версии придерживается и сам Евгений Анисимов: «Мне кажется, что нужно различать закладку крепости и её освящение. Закладка была делом чисто техническим, менее значимым, чем её освящение. Точно известно, что Петра I не было при основании форта Кроншлот в 1703 г., а потом крепости и города Кронштадт в 1720 г. Примечательно, что оба раза при закладке отсутствовало и духовенство, непременно участвовавшее во всех государственных торжествах в России. Но зато царь счёл для себя обязательным прибыть к моменту освящения церкви в 1720 г. в новооснованной Кронштадтской крепости в присутствии духовенства» [6. С. 41].

Подтверждением таких выводов могут служить документы почтового ведомства. «... На письме от 18 июня этого года, посланном Ф. М. Апраксиным Петру I к берегам Невы, имеется помета: “Принета с почты в новозастроенной крепости, июня 28 день 1703-го”. Назавтра, в день тезоименитства царя, произошло торжественное освящение возведённой из дерева и земли крепости “с приличной событию церемонией”, а 30 июня письмо Т.Н. Стрешнева из Москвы было помечено: “Принето с почты в Сант-Питербурхе, июня 30 день 1703-го”» [24. С. 62]. И ещё один аргумент: «...в петровское время среди “праздничных и викториальных дней, которые повсегодно празднуемы бывают”, день основания Петербурга никогда не значился» [28. С. 294–295].

...Итак, в мае основали крепость, а в июне она уже получила статус города. Но недаром говорят, что аппетит приходит во время еды. Спустя ещё год с небольшим, 28 сентября 1704-го, в одном из писем к Александру Меншикову Пётр вдруг заявляет: «...чаем, аще Бог изволит, в три дни или четыре быть в *столицу* (курсив мой. – С. А.) Питербурх» [8. С. 284]. Когда именно, при каких обстоятельствах, по какой причине и кто именно нарёк Санкт-Петербург столицей – обо всём этом история хранит молчание.

Однако назвать едва начавшуюся стройку столицей легко. Гораздо труднее сделать её столицей на деле. Царская семья впервые появилась в Петербурге только в 1708 году, но приезжала сюда лишь на время, живя большую часть времени в Москве и её окрестностях. Да и самого двора, в его допетровском и послепетровском понимании, в Петербурге не было. Петра и Екатерину, бывшую «ливонскую пленницу», окружала прислуга, необходимая в походных условиях, которые, в общем-то, и были характерны для первых, по крайней мере, десяти лет строящегося города.

Принято считать, что Петербург стал официальной столицей в 1712 году, когда в своём любимом «парадизе», а не в Москве, как предписывала традиция, Пётр сыграл пышную свадьбу с Екатериной. И на церемонии вынуждены были присутствовать все члены царской фамилии, а также дипломатический корпус. Кроме того, в том же году по приказу Петра на берега Невы переехал Правительствующий сенат, высший орган государственной власти. «До этого пребывание Петра на берегах Невы в официальных документах именовалось “походом”, – отмечает Евгений Анисимов. – Так назывался любой выезд царя из Кремля ещё в допетровскую эпоху. “Поход” затянулся на многие годы, и только в 1712 г. упоминание о “походе” исчезает из официальных документов» [6. С. 87].

Параллельные заметки. Парадокс, но всегда, вплоть до 1918 года, Санкт-Петербург являлся столицей Российской империи лишь де-факто, а не де-юре. Москва неизменно оставалась «царствующим градом». Неслучайно все императоры после Петра продолжали венчаться на царство именно в Первопрестольной.

И это ещё одна загадка: отчего Пётр не озаботился юридическим оформлением такого важного в государственной жизни события, как смена столицы? Может, при своём царском всемогуществе не считал это таким уж нужным? Мол, к чему переводить бумагу,

если достаточно одного государева слова, подкреплённого угрозой ссылки или батога? Ведь все прекрасно знали, как умел Пётр карать непокорных: чуть что – в пыточную, а оттуда – в Сибирь, на галеры или прямо на небеса. А может, во множестве забот и дел царю просто не достало времени на юридические формальности?

Энергии, властных полномочий и забот у Петра и вправду хватало с лихвой. Однако в данном случае и то и другое никак нельзя признать достоверными причинами. Пётр I, хотя и писал, как известно, с чудовищными ошибками, на уровне сочинения указов страдал острой формой графомании. В течение своего 36-летнего правления он собственноручно настрочил свыше 20 тысяч (!) указов. В среднем – почти по два указа в день. Причём многие были откровенно абсурдны и касались таких мелких деталей в жизни миллионов подданных, о которых впору заботиться не главе огромного государства, а деревенскому старосте.

И тем не менее столь важное событие, как перенос столицы из Москвы на невские берега, ни указа, ни иного письменного распоряжения так и не удостоилось. Возможно, истинная подоплёка этого казуса в том, что Пётр принадлежал к тому большинству в длинной череде российских правителей, которые считали, что для нашего отечества закон – деталь не обязательная, а в иных случаях и вовсе лишняя?..

* * *

В дельте Невы люди селились с незапамятных времён. И всегда маленькими деревушками. Местный климат был слишком суров, чтобы кто-то по собственной воле захотел тут образовать крупное поселение. 60-я параллель – это севернее Магадана и Новосибирска, всего на два градуса южнее Якутска. Современные учёные считают 60-ю параллель критической для существования человека. Ещё до основания Петербурга о здешнем климате говорили: «Здесь Сибирь сходится с Голландией» [36. С. 226]. Да и лес был далеко не парковый, к которому мы привыкли теперь, а настоящие таёжные дебри. Неслучайно Великий Новгород, которому устье Невы принадлежало на протяжении шести столетий, не предпринял ни одной попытки основать здесь город или хотя бы крепость.

Только шведы в XVI веке отважились поставить при впадении реки Охты в Неву крепость Ниеншанц, рядом с которой вскоре появился городок Ниен, разросшийся к началу XVIII века до четырёхсот домов. Но это всё же на почтительном расстоянии от невского устья.

К тому же чухонцы, славяне, шведы – все, жившие здесь, отлично знали, что такое внезапные и сокрушительные невские наводнения. Ещё в одной из древних новгородских писцовых книг упоминалось, как в 1541 году у некоего «Васюка с братией», обитавших «на устье Невы-реки», «дворы и землю море взяло и песком заскало» [13. С. 33]. Сейчас, через три с лишним сотни лет после основания Петербурга, культурный слой в городе значительно поднялся, многие реки, речушки и протоки давно засыпаны и вместо былых ста с лишним островов осталось всего чуть более сорока. Если в первом десятилетии прошлого века Нева выходила из берегов, когда вода поднималась минимум на полтора метра, в XIX веке – чуть менее, чем на метр, то в начале XVIII столетия достаточно было всего 40 сантиметров, и вся территория нынешнего исторического Петербурга превращалась в одно сплошное болото, а то и в настоящее море [36. С. 330].

Ганноверский резидент в России (1714–1719) Фридрих-Христиан Вебер в книге «Преображённая Россия» писал: «Прежние обитатели сей местности никогда не хотели строить настоящие дома на реке Неве в месте расположения нынешнего Петербурга. Вместо домов они поставили только несколько убогих рыбацких хижин, которые, как только опыт подскажет приближение наводнения, – быстро разбираются» [13. С. 33–34]. После этого разобранная хижина превращалась в плот, который накрепко привязывали к одному из деревьев, а

сами аборигены садились в лодки и отправлялись вверх по течению Невы, чтобы переждать разгул стихии в безопасном месте. Когда вода спадала, люди возвращались, и плоты вновь превращались в хижины. Не мог же царь не ведать того, что знает даже иностранный посол!

Впрочем, если Пётр при всём его упрямстве не хотел верить местным жителям, Нева сама не замедлила дать ему наглядное доказательство своего буйного нрава. После августовского наводнения 1703 года в октябре 1705-го разразилось ещё одно. А в сентябре 1706-го – третье: в царских «хоромах» на Петербургской стороне вода стояла на 21 дюйм выше пола, то есть больше, чем на полметра! Всего, по словам летописца петербургских наводнений П. Каратыгина, при жизни Петра юный город пережил десять приступов водной стихии [4. С. 304].

Одновременно с природными свидетельствами того, что нельзя здесь возводить столицу, грянули геополитические. Северная война ещё только разгоралась, и было совершенно неизвестно, какая судьба ожидает Россию с её плохо подготовленной армией и отчаянной нехваткой кадровых, профессиональных командиров. Уже в ближайшие несколько лет после основания Петербурга шведы предприняли шесть попыток отвоевать невиские берега обратно [27. С. 70–73]. В июне 1704-го шведским полкам удалось выйти сперва на Каменный остров, а затем к Ниеншанцу. Следующим летом они вновь явились на Каменный остров и даже «заложили на правом берегу Малой Невки батарею, сосредоточив тут свои силы...» [6. С. 71]. Тем летом, по оценке Евгения Анисимова, положение было настолько серьёзно, что «судьба Петербурга повисла на волоске» [6. С. 74]. В последующие годы вновь «несколько раз обстановка вокруг Петербурга становилась критической. Шведы пробовали выбить русских из устья Невы согласованными ударами с суши (с севера и востока) и с моря.» [6. С. 71].

К счастью, все атаки удалось отбить. Но разве это не служило подсказкой: столицы не ставят у самой границы государства! А по сути, вообще за рубежом, ведь невиское устье официально стало российской территорией только по Ништадтскому миру, который был подписан в августе 1721 года, через 18 лет после основания Петербурга.

***Параллельные заметки.** На протяжении последних двух столетий Россия участвовала в трёх тяжелейших войнах: Отечественной 1812 года, а также Первой и Второй мировых. И все три раза возникала реальная угроза захвата Петербурга иноземцами.*

«До прибытия неприятеля в Петербург дней двадцать необходимо пройдёт, – писал император Александр I председателю Государственного совета и незадолго до того учреждённого Совету министров фельдмаршалу Николаю Салтыкову. – За это время надо подготовить и осуществить эвакуацию (на север, в Архангельск и в Казань) государственных учреждений с их архивами, дворцовых драгоценностей и художественных сокровищ Эрмитажа, восковой фигуры Петра из Кунсткамеры и петровских подлинных вещей из “домика” и Монплезира, редчайших книг из Публичной библиотеки, важнейших церковных ценностей, мраморных статуй из Таврического дворца, “Минералогического кабинета” Горного института, воинских трофеев – короче, драгоценностей, с которыми не хотим расставаться». Кроме того, предполагалось подготовить к эвакуации два памятника Петру I и памятник Суворову, а также Сестрорецкий оружейный завод вместе с его ведущими мастерами [9. С. 282].

Во второй раз, в 1914 году, уже не только готовились к эвакуации, но и вывозили ценности: книги, многие музейные шедевры, прежде всего из Эрмитажа... В третий, накануне ленинградской блокады, – пытались отправить в безопасные районы всё, что есть ценного в городе: наиболее значимые произведения искусства, промышленное и научное оборудование... Летом 1941 года из Ленинграда на восток вывезли 92 института (не считая специальных научно-исследовательских), 86 промышленных предприятий, часть собраний крупнейших музеев... [19. С. 94–95]. Тем не менее 8 сентября, в день начала блокады, в оса-

ждённом городе оставались два с половиной миллиона мирных граждан и тысячи тонн так и не отправленных ценностей.

Конечно, в ходе этой третьей эвакуации имели место серьёзные, порой преступные просчёты, о чём речь ещё впереди, но главный просчёт был допущен намного раньше, в начале XVIII века, когда царь основал новую столицу на самом краю страны. И если за всю историю Петербурга-Петрограда-Ленинграда ни разу нога врага не ступала на его территорию, то причиной тому или счастливая игра исторического случая, как это произошло в 1812 году, или результат беспримерной стойкости защитников города и его жителей, как это было в 1941–1944 годы.

Все и всё были против замысла Петра. На огромной стройке постоянно не хватало материалов и специалистов. А главное – продовольствия. Окружающие скудные и малонаселённые земли не могли прокормить городских строителей. Едва ли не весь провиант приходилось завозить из других губерний, при почти полном отсутствии дорог, особенно по весенней и осенней распутице, а потому обходилось это втридорога. «По отзыву англичанина Дж. Перри, из-за плохих дорог стоимость продуктов в Петербурге возрастала в 3–4 раза, а что касается фуража для лошадей – то и в 6, и в 8 раз» [3. С. 74].

Ф.-Х. Вебер писал: «Если бы продовольствие, особенно муку, сюда не привозили из Новгорода, Пскова и Москвы и даже из Казанского царства – это всё зимой доставляют на многих тысячах саней за 200–300 миль, а летом водой по реке Волхов и Ладожскому озеру, также по озеру Онега и реке Свирь (тоже через Ладожское озеро), – то не только Петербург, но и часть края вымерла бы от голода» [10. С. 118]. Даже после смерти Петра власти Петербурга ещё долго вынуждены были контролировать цены на продукты питания. Полиции вменялось в обязанность следить, чтобы до полудня торговля шла исключительно по твёрдым ценам (дабы «обывателям можно тою покупкою без повышения цен удовольствоваться»), и только после полудня – по свободным. Такой порядок сохранялся в городе и в XIX столетии [35. С. 7].

Люди знатного рода не желали перебираться на север, потому что на болоте живут лишь кикиморы, лешие да прочая нечисть. Кроме того, переезд в новую столицу «на вечное жительство» означал сильный удар по карману, а также разрыв всех житейских связей. Если б ещё можно было поселиться в этом самом Петербурге, а потом время от времени ездить на побывку на старое место, но ведь «обязанные селиться в столице не только не могли жить в других городах, но даже и отлучаться из города на долгое время было запрещено» [39. С. 38]. И нет ничего удивительного, что, хотя из Петербурга год за годом рассылались по всей стране указы, предписывающие лицам боярских и дворянских фамилий срочно прибыть на берега Невы, никто в путь не спешил.

Вот всего один пример того, как привилегированный класс относился к перспективе петербургского житья при Петре. Даже «на повторные запросы Сената 1715, 1716 и 1717 годов сибирскому губернатору Гагарину по поводу того, что до сих пор “царедворцы к Санкт Питербурху не высланы и не построились”, ответом из Сибири было полное молчание. Ему и другим губернаторам писали из столицы в январе 1717 года, что “люди” (то есть слуги) тех, кто не построился, будут держаться за караулом, пока их хозяева не явятся в канцелярию Сената. Если же и это не возымеет действия, то “отписать их имущество бесповоротно”. В случае смерти кого-то из внесённых в списки их должны заменить наследники. Наконец, в 1718 году от Гагарина в Сенат поступил ответ, что “царедворцев”, которые были бы “не у дел”, в Сибирской губернии не имеется и высылать в Петербург некого» [20. С. 23].

Шляхетство всеми силами уклонялось от «вечного житья» в новой столице. «...В 1720 г. из списка в 703 человека, определённых в “парадиз”, 17 процентов (122 человека и 124 имени) числились в графе “В Сенате приезде своего не объявили, и ныне, где они, того

не ведома” По социальному составу это были: 2 боярина, 2 окольных, 3 думных дворянина, 5 стольников комнатных, 58 царедворцев, 2 ландрихтера, а также вдовы и дети умерших дворян. Все они просто сбежали от возможности пополнить ряды обитателей рая-“парадиза”» [3. С. 112].

Для купцов освоение новой столицы и вовсе грозило катастрофой. Дом, имение ещё можно продать, но куда девать уже налаженное дело? Оставить кому-то из родственников, сбыть конкурентам? И на какие капиталы заводить новое «кумпанство», которое к тому же неизвестно когда принесёт барыши на голом-то месте?

Не хотели жить в новой столице также ремесленники. «В 1710-1711 гг. в Петербург следовало “поставить” “на вечное жильё” 4720 мастеровых разных специальностей. Из доношения УА. Синявина от 6 июня 1712 г. следует, что прибыло в город всего 2210 человек, из которых сбежало 365, умер 61 и оказалось “дряхлыми за старостью” 46 человек. Дополнительно вышедшие указы также не были выполнены, и власти набрали нужное число мастеровых – 262 человека – из рекрутов» [3. С. 110].

Дело было не только в невероятных трудностях, связанных с переездом и обустройством на новом месте. Никто не знал, чем обернётся государева блажь после его смерти – а ну как следующий царь откажется от петербургской затеи и вернётся в Белокаменную? Основатель новой столицы и сам предвидел эту возможность. «Знаю, – говорил Пётр I противникам своего дела, – что вы чувствуете отвращение к Петербургу, я помру, и возвратитесь в вашу любезную Москву...» [18. С. 343].

Параллельные заметки. Поначалу так и вышло. После недолгого правления Екатерины I на царство заступил внук первого императора Пётр II, которому в ту пору ещё не сравнялось 12 лет. Испанский посол в Петербурге герцог Лирийский доносил своему королю: «Юный монарх... ненавидит морского дела и окружён русскими, кои, не терпя отдаления своего от родины, всегда толкуют ему ехать в Москву, где жили его предки...» [25. С. 197]. Одним из таких близких советчиков был князь Дмитрий Голицын, убеждавший юного царя, что Петербург – ««охваченная гангреной конечность, “которая должна быть отсечена, дабы не заразилось от неё всё тело”» [14. С. 35].

В конце концов, Пётр II, всего через три года после смерти Петра I, изрёк: «Не хочу гулять по морю, как дедушка», – и 9 января 1728 года весь двор вслед за малолетним государем с радостью потянулся в Первопрестольную. Уехали все высшие должностные лица, даже обер-полицмейстер, вместо которого в Петербург был назначен воевода, как в обычный провинциальный город.

Брошенная новая столица быстро приходила в запустение: улицы и площади зарастали травой, недостроенные здания ветшали под ударами сырого ветра, снега и дождя, банды мародёров грабили то, что ещё было в опустевших домах... Оставленные «на хозяйстве» чиновники с прискорбием доносили, что сваи и щиты, коими были укреплены берега рек и каналов, неудержимо разрушаются ««и от того каналы заносит, и в тех местах тако ж и по берегу Невы реки, при обывательских домах берега и мосты весьма попортились... и от такой долговременной непочинки пришли оные каналы и речки в такую худобу, что занесло землёю в половину, от чего проход и мелким судам весьма с трудностью» [17. С. 73–74].

Правда, 17 июля 1729 года, за полгода до смерти Петра II, был издан указ, ««по которому заселение Петербурга опять сделалось поголовным налогом: велено было немедленно выслать на бессрочное житьё в Петербург всех выбывших из него купцов, ремесленников и ямщиков, с их семействами; а за неисполнение или медленность повелено было отбирать всё имение и ссылать вечно на каторгу» [34. С. 89–90]. Однако, как пишет Михаил Пыляев, ««эти строгие меры не привели ни к чему, народ тяготился житьём в Петербурге...» [34. С.

90]. Впрочем, нежелание возвращаться в Петербург объяснялось не только этим. Страна, разорённая правлением Петра I, стонала под бременем чиновников, непомерных расходов на армию, да ещё и возведения новой столицы. Неслучайно члены Верховного тайного совета во главе с князем Дмитрием Голицыным, которые после смерти Петра II попытались ограничить самодержавную власть, при определении ближайших наиболее важных государственных задач предусматривали вернуть столицу обратно в Москву.

Петербург вновь обрёл столичную функцию лишь после того, как вступившая на престол Анна Иоанновна сама перебралась на невские берега. «Считается, что одной из причин, побудивших Анну Иоанновну переехать в Петербург, стало неприятное путешествие, случившееся зимой 1731 года, – рассказывает писатель Яков Длуголенский. – Императрица – с челядью и придворными – возвращалась из подмосковного Измайлова, как вдруг часть дороги перед ними разверзлась, и первая карета (Анна была во второй) – вместе с лошадьми, кучером и фореитором – рухнула в образовавшийся провал. “Есть полное основание думать, – сообщал своему правительству французский дипломат Маньян, – что дело это было подготовлено заранее”. Злоумышленников искали, но не нашли. Да и вряд ли они были, если вспомнить, как прокладывались и до сих пор прокладываются наши дороги: обвалы и провалы случаются по сей день, и виной тому – изумительная строительная неграмотность» [16. С. 43].

Даже если история с рухнувшей в провал дороги каретой всего лишь легенда, Анна и без того прекрасно знала, что в Москве у неё немало противников, которые считают её, а тем более любимого ею Бирона чужаками и ненавидят их обоих. ««В деле полковника Давыдова, начатом в Тайной канцелярии в 1738 году, упоминается интересная деталь – одной из причин переезда двора в Петербург был случайно подслушанный Анной и Бироном разговор гвардейцев, возвращавшихся после тушения пожара во дворце. Они, проходя под окнами царицы, говорили между собой о её времени: “Эх, жаль, что нам тот, которой надобен, не попался, а то буде его уходили!”» [5. С. 428–429]. И когда Бурхардт Миних посоветовал вернуться в Петербург и заодно вернуть на невские берега столицу, императрица не могла не согласиться с этим предложением.

««Газета “Санкт-Петербургские ведомости” 17 января 1732 года сообщала: “Третьего дня ввечеру изволила Её Императорское Величество, к неизречённой радости здешних жителей, из Москвы счастливо сюда прибыть”. <...> В заброшенную столицу вновь перебрались двор, Кабинет министров, Сенат, Синод, коллегия, гвардия, дипломатический корпус» [16. С. 40]. Встречал царицу петербургский генерал-губернатор Миних. «По сторонам Большой перспективной дороги (будущего Невского проспекта) были выстроены войска и толпились любопытствующие обыватели...» [16. С. 41].

Несмотря на то что большинство его подданных всеми правдами и неправдами противилось царскому приказу ехать в Петербург, Пётр I был преисполнен решимости продолжать начатое строительство любимого детища. Его мечта о грандиозном городе, который должен затмить могуществом и красотой европейские столицы, была настолько неземной, что всё земное рядом с ней теряло всякий смысл. Царь упорно называл Петербург «парадизом» и в письмах не уставал повторять: «В раи Божии зла быти не может». А непокорных опять-таки бил указами, за неисполнение которых ослушники подвергались страшным пыткам и лютым казням; неслучайно Пушкин говорил, что Петровы указы «нередко жестоки, свои нравны и, кажется, писаны кнутом» [33. С. 11].

* * *

Итак, 16 мая 1703 года на Заячьем острове началось возведение крепости. Этот остров оказался больше того, на котором стоял Ниеншанц, и удобней, поскольку был ближе к невоскому устью, да вдобавок пушки с него могли держать под прицелом всю акваторию Невы.

Однако на поверку выяснилось, что Заячий остров не столь уж велик. «Современные архивные изыскания и археологические раскопки показали, что на том пространстве Заячьего острова, куда в первый раз высадился Пётр, поместились только Зотов, Головкин и Меншиков бастионы, а для остальных остров пришлось расширять. Когда с 1706 г. вместо земляных бастионов начали возводить каменные, линию южного берега отодвинули ещё дальше в Неву. В итоге центральный Нарышкин бастион фактически целиком построен за береговой чертой, то есть “в Неве”, а Трубецкой и Государев большей своей частью “вылезают” за линию бывшего Заячьего острова» [21. С. 200]. По меткому замечанию историка Евгения Анисимова, строящаяся «крепость напоминала порой севший на мель полузатопленный корабль» [6. С. 51]. Поэтому приходилось отвоёвывать у реки её пространство да к тому же наваливать камни и землю, чтобы повысить уровень островной почвы на несколько метров.

К тому же дальность Ниеншанца от моря не так уж огромна – между Заячьим островом и Охтинским мысом всего несколько межевых вёрст, то есть пять-семь километров. Поэтому логичнее было ставить Петропавловскую крепость именно там, где располагался Ниеншанц, а заодно и город начинать рядом. В этом месте и болот нет, и земля выше, и наводнения не так опасны. Начальник Санкт-Петербургской археологической экспедиции Пётр Сорокин отмечает, что Ниеншанц был расположен очень удобно: это «сухое возвышенное место с хорошей гаванью для стоянки судов могло использоваться купцами и путешественниками. Сам же мыс, защищённый с трёх сторон водными преградами, можно было легко укрепить, тем более что единственный подход к нему по суше – с юга был покрыт заболоченным лесом. <...> Судя по планам XVII в., устье Охты в то время было метров на 10 шире, чем сейчас, и его ширина достигала 45 м» [38. С. 20].

Кроме всего прочего, и расчёт на то, что из крепости с Заячьего острова можно будет контролировать вход в Неву, тоже сомнителен. «...Наши северные реки на добрых пять месяцев замерзают, и так бывает ежегодно, – указывает историк Георгий Прошин. – Обороноспособность крепостей снижается. неприступной крепость становилась два раза в год: в начале зимы, в пору ледостава, и весной, в ледоход. Неприступной для врагов. Для своих тоже» [32. С. 313]. Г. Прошин делает однозначный вывод: «Ниеншанц перекрывает Неву много надёжнее. Нева против шведской крепости течёт в одном русле. Оно в этом месте узкое, значительно более сильное, чем против Петропавловской крепости; обстрел проходящих, преодолевающая встречное течение, кораблей возможен с трёх бастионов (как и на Петропавловской крепости), и это стрельба в упор... Собственно, если бы шведам удалось осадить Петропавловскую крепость, то они спокойно могли бы проводить корабли в Ладогу, не опасаясь обстрела с бастионов. На Неве существовал ещё один фарватер» [32. С. 316].

Кстати, на том самом знаменитом военном совете никто не одобрил выбор царя, и Пётр просто приказал возводить крепость на Заячьем острове.

Параллельные заметки. Петропавловская крепость никогда не участвовала в сражениях. Её предназначение оказалось совсем иным. Прежде всего, она стала политической тюрьмой: в Европе, да нередко и в России, её так и называли – «русской Бастилией».

Считается, будто первым политическим узником стал цесаревич Алексей, сын Петра I. Но это не так. ««Здесь, по сведениям... Берхгольца, <ещё раньше> сидели пленные швед-

ские офицеры. В 1717 г. сюда для расследования привезли 22 моряков с погибшего корабля “Ревель”, здесь же содержали участников так называемого “Бахмутского дела” о похищении казённых денег. Из политических узников Петропавловской крепости первым стал, по-видимому, племянник Мазепы Андрей Войнаровский, схваченный русскими агентами в 1717 г. на улице Гамбурга и тайно привезённый в Петербург и впоследствии ставший героем знаменитой поэмы Адама Мицкевича. Перед тем как сгинуть в Сибири, Войнаровский просидел в крепости пять лет» [6. С. 202–203]. А уж после того как весной 1718 года в крепость переехала Тайная канцелярия, Петропавловка стала главной в стране следственной тюрьмой политического сыска [7. С. 122].

И Петропавловский собор, расположенный в крепости, никогда не был ни кафедральным, ни придворным и даже не имел своего прихода. Он стал уникальным в своём роде храмом-усыпальницей. Причём опять-таки первым здесь был погребён не Пётр I, как многие считают. За десять лет до этого, «когда строительство собора ещё только начиналось, осенью 1715 года в полу соборной колокольни была погребена 21-летняя кронпринцесса Софья-Шарлотта, жена цесаревича Алексея; в том же году – годовалая дочь Петра, Маргарита. В 1716 году “у Петра и Павла” перезахоронили вдову брата Петра, Ивана Алексеевича, Марфу Матвеевну. В июне 1718 года рядом со своей женой был погребён царевич Алексей Петрович» [9. С. 419].

Маркиз Астольф де Кюстин, автор знаменитой книги «Николаевская Россия», со свойственной ему едкой наблюдательностью заметил: «...в петровской цитадели покоятся останки императоров и содержатся государственные преступники: странная идея – чтить таким образом своих покойников» [1. С. 66].

* * *

Ни сам царь, ни его соратники не оставили никаких письменных свидетельств, которые объясняли бы замысел учредить новую столицу да к тому же в столь неподходящем месте. Историки до сих пор теряются в догадках, пытаются понять, что всё-таки толкнуло Петра на такой неожиданный шаг.

Самый распространённый аргумент: России был необходим выход на Балтику, а значит, в Европу, потому что только благодаря этому «окну» страна могла совершить экономический прорыв, чтобы в последующем занять, наконец, своё законное место в ряду крупнейших держав. Вот что в связи с этим, в частности, пишет историк Ольга Агеева: «Перенесением столицы к Балтике Пётр I сразу поставил себя в ряд исторических деятелей, осуществлявших подобные акции, например, киевского князя Святослава или Карла Великого. Существует точка зрения (она высказывалась, например, К. Марксом в «Секретной дипломатии», а в последние годы при изучении семиотики Ю.М. Лотманом), что в таких случаях перенесение столицы имеет непосредственный политический смысл: оно, как правило, свидетельствует об агрессивных замыслах – приобретении новых земель, по отношению к которым новая столица окажется в центре. Однако у Петра I смысл перенесения столицы состоял в другом и соответствовал специфике взаимоотношений между странами в Новое время. Географическим приближением своей столицы прямыми связями по морю царь де-факто вторгся в мир европейских государств, ставил Петербург в один ряд с их столичными городами. Это было политическое, культурное и торговое вторжение в Европу, хотя война и являлась одним из его самых действенных средств» [3. С. 206].

Что ж, допустим. Но в таком случае непонятно, почему с той же целью нельзя было воспользоваться уже готовыми городами-портами – скажем, Нарвой или Выборгом, отвоёванными на Балтике чуть позже. Ведь там не пришлось бы начинать с нуля, да и климатические условия не в пример лучше. Может, причина была в том, что эти города были слишком

европейскими, а Петру нужен был лишь европейский парадный лоск, причём версальский, а не североевропейский?..

***Параллельные заметки.** Казалось бы, оспаривать плохой петербургский климат и низкое плодородие окружающих земель бессмысленно. Однако апологеты Петра и его «великих деяний» даже тут нашли оправдание своему кумиру. ««... Что касается неудобств климата и почвы, – говорил историк Сергей Соловьёв в своих «Публичных чтениях о Петре Великом», – то нельзя требовать от людей, физически сильных, чтоб они предчувствовали немощи более слабых своих потомков» [37. С. 89].*

Кроме того, Финский залив, примыкающий к устью Невы, совершенно не годился в качестве подходов к большому порту. Вода здесь на протяжении долгой зимы покрыта льдами да к тому же довольно пресная, что для деревянных судов – вредный показатель. Вдобавок фарватер между Кронштадтом и Петербургом был мелковат. Уже в XIX веке морские крупнотоннажные паровые суда приходилось разгружать в кронштадтском торговом порту, и затем на мелкосидящих лихтерах грузы переправлялись к петербургским причалам. Из-за этого товары, доставляемые, скажем, из Лондона, добирались до российской столицы вдвое дольше, и цена их, соответственно, вырастала тоже вдвое. В итоге пришлось строить Морской канал, который соединил малый Кронштадтский рейд с Гутуевым островом. Сложнейшее инженерное сооружение (длина – 26,5 версты, глубина – 22 фута, ширина по дну – 30–50 сажений) возводилось свыше десяти лет, и было открыто к началу навигации 1885 года, через 182 года после основания Петербурга.

Ещё одна гипотеза, призванная объяснить причины возникновения северной столицы, основана на широко распространённой концепции, повествующей о борьбе царя-реформатора с косным большинством тогдашнего российского общества. Дескать, «Петербург строился не только как “окно в Европу” в стратегически выгодном, пусть и малопригодном для жизни месте, но и как антитеза боярской и косной Москве» [1. С. 53]. Иными словами, в понимании Петра, болото московской стоячей жизни было куда опасней для будущей России, чем то болото, из которого предстояло поднять новую столицу. Здесь не надо было рвать пути косных, замшелых традиций. Ведь всем известно: легче строить новое, нежели переделывать старое.

По поводу прогрессивного царя, окружённого реакционерами, можно бы и поспорить. К началу царствования Петра российское общество вовсе не было столь примитивно ретроградным, как пытались нас уверить многие дореволюционные и особенно советские историки. Благотворный пример Европы не мог оставить равнодушным всякого здравомыслящего человека. Одним из таких людей был, в частности, князь Василий Голицын. «По свидетельству француза Невилля, которому князь Василий Васильевич подробно излагал свою программу, он собирался заменить стрелецкое войско регулярной армией европейского образца, открыть Россию для широких международных связей, послать русских юношей в Европу для обучения, оживить торговлю, заселить Сибирь, заменить натуральное хозяйство денежным. Но при этом ему представлялось в перспективе общественное устройство, о котором Пётр и думать не думал, – полная свобода вероисповедания, а затем и освобождение крестьян от крепостной зависимости. Причём – с землёй» [15. С. 125]. Приводя этот и другие аналогичные примеры, Яков Гордин делает совершенно обоснованный вывод: «... некоторые из тех, кто был в оппозиции Петру, были в гораздо большей степени европейцами, чем он сам» [15. С. 74].

Однако, даже если принять версию, согласно которой основание новой столицы являлось единственным способом вырваться из паутины отсталой Московии в прогрессивную Европу, – всё равно непонятно: почему это «пустое место» надо было выбирать за преде-

лами собственного бескрайнего царства, на чужой, по сути, территории, которая к тому же нисколько не подходила для крупного города?

Иные исследователи, изо всех сил стараясь разгадать логику северного демиурга, вспоминают летописный путь из варяг в греки, который за тысячу лет до того вёл как раз отсюда, с Балтики и Невы, в Средиземноморье. Мол, тогда, в незапамятные времена, здесь начинался «путь от северного языческого варварства к эллинистически-христианской духовности» [23. С. 62], а теперь великий реформатор из той же варварской точки проложил дорогу в цивилизованную Европу. В результате сам собой напрашивается вывод: «Санкт-Петербург, основанный Петром I в истоке великого водного пути России из Балтики к Чёрному морю, пути из Варяг в Греки “Повести временных лет”, стал закономерным звеном не только российского, но общеевропейского процесса» [22. С. 47].

Идея, как говорится, красивая. Однако – чересчур, поскольку явственно отдаёт кабинетной придуманностью. Трудно поверить, чтобы сам Пётр руководствовался такими рассуждениями, разворачивая строительство северной столицы. Во всяком случае, по этому поводу никаких исторических свидетельств опять-таки нет.

Параллельные заметки. *«Странный народ русский: была столица в Киеве – здесь слишком тепло, мало холоду; переехала русская столица в Москву – нет, и тут мало холода: подавай Бог Петербургу!», – иронизировал Николай Гоголь в «Петербургских записках 1836 года» [12. Т. 6. С. 188]. Эх, если б знал Николай Васильевич, что Иван Грозный, как только открылись возможности торговли с Англией, пытался перенести столицу поближе к морю, в Вологду, и «только случай не дал этому осуществиться» [26. С. 195]! Если б знал писатель, что в закрытых в его пору материалах декабристов содержится намерение Павла Пестеля в случае победы на Сенатской площади устроить столицу вообще в Нижнем Новгороде!*

Впрочем, тому, что в глазах Гоголя служило предметом для насмешки, некоторые историки старались дать серьёзное объяснение. «...У нас переносятся столицы из одного места в другое, из Новгорода в Киев, из Киева во Владимир, из Владимира в Москву... – писал уже упоминавшийся историк Сергей Соловьёв. – Причина уясняется при первом взгляде на карту. Чрезвычайная обширность государственной области, особенно при малочисленности народонаселения и отсутствии цивилизации, необходимо обуславливала это явление... правительство чрезвычайно обширной страны принуждено переносить своё местопребывание из одной части страны в другую по мере надобности, по мере прилива и отлива сил народных в ту или другую страну, по мере сосредоточения народных интересов, народного внимания здесь или там...» [37. С. 88]. При всём почтении к выдающемуся учёному такой аргумент принять трудно. Ведь если следовать этой логике, столицы обширных государств – например США, Канады, Китая – должны кочевать с одного места на другое с удручающей регулярностью, особенно в последние века, когда в связи с техническими революциями «приливы и отливы сил народных», а заодно и «сосредоточение народных интересов» менялись намного чаще прежнего.

Существует, наконец, ещё одна гипотеза, в её основу положены личные особенности Петра. Например, фанатически болезненное пристрастие к морю: «По сути, он хотел иметь здесь не просто красавец-город, а город-амфибию», – писал советский исследователь В. Голант [13. С. 40].

Параллельные заметки. *Многие, кто окружал Петра, прекрасно понимали, что форпост России здесь, в устье Невы, нужен – крепость, небольшой город, но никак не новая столица. В частности, такую роль в будущем готовы были отвести Петербургу сын царя Алексей и его сторонники, обвинённые в заговоре. Причём это были вовсе не какие-нибудь*

ретрограды, желавшие вернуть страну обратно в «боярское сонное царство», а убеждённые сторонники реформ, только более глубоких, по-настоящему европейских. Евфросинья, любовница Алексея, показывала на следствии, что «царевич, говаривал: когда он будет государем, и тогда будет жить в Москве, а Питербурх оставит простой город...» [15. С. 62].

...Но не может же быть, чтобы прекрасная северная столица родилась лишь от царской блаженной импульсивности и болезненного упрямства! Неужели появление великого города не имело изначально великой идеи? Идея должна была существовать. Её просто не могло не быть.

* * *

В дождливую ночь на 7 мая 1703 года к самому устью Невы подошла шведская эскадра под командованием вице-адмирала Гидеона фон Нуммерса. О взятии русскими Ниеншанца вице-адмирал ещё не знал, но поводы для осторожности у него, видимо, имелись, потому что сперва он отправил в Неву на разведку шняву «Астрильд» и бот «Гедан». Пётр с Меншиковым посадили на лодки Преображенский и Семёновский полки и, внезапно атаковав шведов, перебили их. Оба судна противника по своим размерам и боевым возможностям были весьма скромны, однако Пётр радовался ночному бою, как великой победе. За сию викторию оба «полководца» были удостоены высшей награды – ордена Андрея Первозванного, «офицерам даны медали золотые с цепью, а солдатам – малые без цепей». На обороте медалей была изображена беспримерная победа и её объяснение, данное самим царём: «Небываемое бывает».

По сути, эти два слова – эпитафия ко всей судьбе Петербурга. Город, который по всем законам природы и здравого смысла должен был остаться не более, чем военным форпостом на северо-западе России, – «вознёсся пышно, горделиво» и два с лишним века являлся столицей неохватной империи.

Литература

1. Санкт-Петербург: Автобиография / Сост. М. Федотова, К. Королёв. М.; СПб., 2010.
2. *Авсеенко В. Г.* История города С.-Петербурга: В лицах и картинках, 1703–1903: Исторический очерк. СПб., 1993.
3. *Агеева О.Г.* «Величайший и славнейший более всех градусов на свете» – град святого Петра (Петербург в русском общественном сознании начала XVIII века). СПб., 1999.
4. *Агеева О.Г.* Петербургские слухи (К вопросу о настроениях петербургского общества в эпоху петровских реформ) // Феномен Петербурга: Труды Международной конференции, состоявшейся 3–5 ноября 1999 года во Всероссийском музее А.С. Пушкина. СПб., 2000.
5. *Анисимов Е.* Куда ж нам плыть? Россия после Петра Великого. М., 2010.
6. *Анисимов Е.В.* Петербург времён Петра Великого. М., 2008.
7. *Анисимов Е.В.* Русский застеноч. Тайны Тайной канцелярии. М., 2010.
8. *Беспярых Ю.Н.* Основание Петербурга: государственная необходимость или государства блажь? // Феномен Петербурга: Труды Международной конференции, состоявшейся 3–5 ноября 1999 года во Всероссийском музее А.С. Пушкина. СПб., 2000.
9. *Богуславский Г.А.* 100 очерков о Петербурге. Северная столица глазами москвича. М., 2011.
10. *Вебер Ф.-Х.* Из книги «Преображённая Россия» // Беспярых Ю.Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях. Л., 1991.

11. *Вейдле В.* Петербургские открытки // Москва-Петербург: pro et contra. Диалог культур в истории национального самосознания: Антология. СПб., 2000.
12. *Гоголь Н.В.* Собрание сочинений: В 7 т. М., 1966–1967.
13. *Голант В.* Укрощение строптивой. Л., 1966.
14. *Голь Н.* Первоначальствующие лица: История одного города. СПб., 2001.
15. *Гордин Я.* Меж рабством и свободой. СПб., 1994.
16. *Длуголенский Я.Н.* Век Анны и Елизаветы. Панорама столичной жизни. СПб., 2009.
17. *Игнатова Е.* Записки о Петербурге: Жизнеописание города со времени его основания до 40-х годов XX века. СПб., 2003.
18. *Каган М.* Град Петров в истории русской культуры. СПб., 1996.
19. *Карасёв А.В.* Ленинградцы в годы блокады: 1941–1943. М., 1959.
20. *Кошелева О.* На вечное жительство: Как заселялась северная столица // Родина. 2003. № 1.
21. *Лебедев Г.С.* Археологи в Петропавловской крепости // Нева. 1981. № 8.
22. *Лебедев Г.* Рим и Петербург: археология урбанизма и субстанция вечного города // Метафизика Петербурга: Петербургские чтения по теории, истории и философии культуры. Выпуск 1. СПб., 1993.
23. *Лебедев Г.С.* Феномен Петербурга в региональном контексте // Феномен Петербурга: Труды Международной конференции, состоявшейся 3–5 ноября 1999 года во Всероссийском музее А.С. Пушкина. СПб., 2000.
24. *Лелина Е.И.* Первый комендант Санкт-Петербурга // Петербургские чтения-96: Материалы Энциклопедической библиотеки «Санкт-Петербург-2003». СПб., 1996.
25. *Лирийский, герцог.* Записки о пребывании при императорском российском дворе в звании посла короля испанского // Россия XVIII в. глазами иностранцев. Л., 1989.
26. *Лихачёв Д.* Русская культура в современном мире // Лихачёв Д. Избранные труды по русской и мировой культуре. СПб., 2006.
27. *Мавродин В.* Основание Петербурга. Л., 1983.
28. *Мезин С.А.* Об авторе сочинения «О зачатии и здании царствующего града Санкт-петербурга» // Феномен Петербурга: Труды Третьей Международной конференции, состоявшейся 20–24 августа 2001 года во Всероссийском музее А.С. Пушкина. СПб., 2006.
29. *Неизвестный автор.* О зачатии и здании царствующего града Санктпетербурга // Беспятых Ю.Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях. Л., 1991.
30. *Переслегин С.Б.* Петербург как транслятор культур // Феномен Петербурга: Труды Третьей Международной конференции, состоявшейся 20–24 августа 2001 года во Всероссийском музее А.С. Пушкина. СПб., 2006.
31. *Пирютко Ю.* Питерский лексикон. СПб., 2008.
32. *Прошин Г.Г.* «Понеже оный мал...»? // Феномен Петербурга. Труды Третьей Международной конференции, состоявшейся 20–24 августа 2001 года во Всероссийском музее А.С. Пушкина. СПб., 2006.
33. *Пушкин А.С.* Исторические заметки. Л., 1984.
34. *Пыляев М.И.* Старый Петербург. М., 1991.
35. *Семёнова Л.Н.* Снабжение хлебом Петербурга в XVIII в. (Правительственная политика) // Петербург и губерния: историко-этнографические исследования Л., 1989.
36. *Синдаловский Н.А.* Санкт-Петербург: Энциклопедия. СПб., 2008.
37. *Соловьёв С.М.* Публичные чтения о Петре Великом. М., 1984.
38. *Сорокин П.Е.* Из предыстории Санкт-Петербурга // Москва-Петербург. Российские столицы в исторической перспективе. М.; СПб., 2003.
39. *Столянский П.Н.* Петербург. Как возник, основался и рос Санкт-Питер-Бурх. М., 2011.

40. *Шарымов А.* Был ли Пётр I основателем Санкт-Петербурга? // Аврора. 1992. № 7–8.

Жестокий «парадиз»

Не какой-нибудь продуманный, прочувственный план был положен при основании российской столицы, нет, и здесь играл первенствующую роль случай, всесильный, всемогущий фактор российской жизни. Он же являлся главнейшим основанием и в дальнейшей истории Северной Пальмиры...

Пётр Столянский. Петербург. Как возник, основался и рос Санкт-Петербург

На чём возводилась северная столица – на болоте или «на костях человеческих»?

«Великое посольство» велико было прежде всего своим размахом. Свита главного посла генерала Франца Лефорта, а также обоих его заместителей – сибирского наместника Фёдора Головина и думного дьяка Прокофия Возницына – составляла больше двухсот человек. Исколесили они чуть не пол-Европы. Сам царь, находившийся в свите под именем урядника Преображенского полка Петра Михайлова, пробыл за границей почти полтора года, с марта 1697-го по август 1698-го, остальные и того дольше.

Официально ехали «для подтверждения древней дружбы и любви, для общих всему христианству дел, к ослаблению врагов креста Господня, салтана турецкого, хана крымского и всех бусурманских орд, и к вящему приращению государей христианских» [10. С. 158]. Однако заключить союз с Западной Европой против «бусурман» так и не удалось.

Вторая задача состояла в том, чтобы учиться. Служа всем примером, Пётр неустанно осваивал премудрости артиллерийского дела, кораблестроения, врачевания и наук... Лифляндия, Курляндия, Пруссия, Голландия, Англия, Австрия – всюду царь старался постичь всё новое, неустанно осматривал промышленные предприятия, порты и судостроительные верфи, военные и торговые суда, достопримечательности и диковинные редкости, кунсткамеры и обсерватории.

Параллельные заметки. Сервильная историография трёх последних столетий всегда с умилением восхищалась неуёмной страстью Петра в освоении наук и ремёсел, однако люди независимого характера относились к этому школярству весьма критически. Так, ещё Екатерина Дашкова, одна из самых образованных и проницательных русских женщин XVIII века, говорила: «Пётр I имел средства нанять не только корабельщиков и плотников, но адмиралов откуда угодно; по моему мнению, он забыл свои обязанности, когда губил время в Саардаме, работая сам и изучая голландские термины, которыми он, как это видно из его указов и морской фразеологии, засорил русский язык» [12. С. 174].

Не только в мемуарах, но и в исторической литературе Саардам фигурирует часто. Тем не менее в этом городе Пётр прожил всего лишь чуть больше недели, хотя из полутора лет своего тогдашнего пребывания в Европе он действительно львиную долю, девять месяцев, посвятил работам на верфях, причём четыре с половиной месяца в Амстердаме «на Ост-Индской верфи... учась систематически кораблестроению под руководством мастера Геррита Клааса Пооля» [10. С. 156, 172–173].

Пётр собирался завернуть ещё в Италию, но в последний момент передумал и срочно помчался в Москву. По общепризнанной версии – в связи с вестями о новом заговоре сестры и стрельцом бунте. Но, надо думать, ещё и потому, что не терпелось увиденное и заученное во время путешествия поскорей пересадить на русскую почву. Первым делом – брить

ненавистные московские бороды, переодевать всех в европейское платье, а затем – вводить новое летосчисление и переименовывать всё и вся на немецкий и голландский лад.

То было начало петровских реформ, которые потом большинство отечественных историков, включая советских, назовут революцией, превратившей азиатскую Московию в европейскую державу.

Но как рождались эти реформы, обычно не говорится, потому что более или менее масштабного, глубокого замысла попросту не было. Василий Ключевский отмечал, что Пётр «из первой заграничной поездки вёз в Москву не преобразовательные планы, а культурные впечатления с мечтой всё виденное за границей завести у себя дома и с мыслью о море, т. е. о войне со Швецией, отнявшей море у его деда» [19. Т. 3. С. 68].

Реформы возникали спонтанно, «по ходу дела». И так же, «по ходу дела», возникали идеи. Сводились они, судя по всему, к следующему. Жить надо, как в Европе. Вот, к примеру, Англия: небольшое островное государство, а богато несметно. Или Голландия: совсем маленькая страна, а живёт как у Христа за пазухой. И всё почему? Потому что имеют выход к морю, и нравы у них не чета нашим. А как этого достичь? Только по науке.

В первом своём европейском путешествии русский царь немало интересовался учёными людьми. В частности, в Англии он заказал богослову Френсису Ли «составить обширный проект для важнейших преобразований в России». Учёный муж выполнил царскую просьбу. Разработанная им программа реформ предусматривала создание семи коллегий: для поощрения учения, для усовершенствования природы, для поощрения художеств, для развития торговли, для улучшения нравов, для законодательства и для распространения христианской религии, а кроме того – предложения «об учреждении местных коллегий в разных частях государства, о финансах, которыми должна заниматься вторая и четвёртая коллегия, об учреждении университетов, об устройстве ссудных касс для бедных, об уголовном судопроизводстве и пр.» [10. С. 232–233].

Подробно рассказывая об отдельных пунктах этой программы, видный русский историк второй половины XIX века Александр Брикнер отмечал, что «в этом проекте учёного англичанина проглядывает некоторое доктринёрство и обнаруживается незнакомство с бытом русского народа. Автор, как оптимист, вовсе не упоминает о тех затруднениях, с которыми приходилось бы бороться при осуществлении проекта» [10. С. 233]. Вместе с тем историк признавал, «что некоторые меры и распоряжения Петра соответствуют разным предложениям, заключающимся в проекте Ли. При учреждении школ, напр., Пётр обращал внимание на реальное обучение, на прикладную математику; созданием системы каналов он старался “усовершенствовать природу”; при учреждении Академии наук ему отчасти служило образцом английское “королевское общество”; поощряя деятельность подданных в области внешней торговли, он имел в виду акционерные общества голландской и английской вест- и остиндских компаний; “ревизии” соответствовали предложениям Ли относительно статистики; наконец, самое учреждение системы коллегий в 1715 году было, в сущности, осуществлением основной идеи учёного английского богослова...» [10. С. 233–234].

Но, пожалуй, наибольшее впечатление на 25-летнего Петра I произвела встреча с членом лондонского Королевского общества, известным европейским философом Готфридом Лейбницем, с которым он познакомился ещё в самом начале поездки, в Северной Германии. О чём в тот раз беседовали импульсивный русский государь и немецкий мыслитель, неизвестно. Но, надо думать, речь шла о том, что больше всего волновало обоих: Петра – грядущая борьба с ненавистными ему силами в Московии и перестройка всего царства, Лейбница – устройство мироздания, в котором всё должно находиться в «предустановленной гармонии», ибо «Бог пожелал, чтобы душа и вещи вне её были согласованы между собой.» [27. Т. 3. С. 290].

Для Европы то была эпоха великих открытий в механике, которые подтверждали, что законы движения небесных и земных тел универсальны. А отсюда следовал логический вывод: тем же законам должны подчиняться общественное устройство и сам человек. Лейбниц был глубоко убеждён, что окружающую действительность, в соответствии с Божественным промыслом, можно и нужно улучшать при помощи науки и государей, которые озаботятся вопросами просвещения. В данном случае науку олицетворял сам Лейбниц, а государя – Пётр, потому что никто другой из правящих особ Старого Света не обладал в ту пору маниакальным желанием переиначивать все порядки в своём отечестве, и уж, конечно, ни один европейский правитель не был так влюблён в механику машин и механизмов, а посему не мог постичь великий смысл и механики государственно-политической.

Так философ и реформатор счастливо нашли друг друга. Причём на долгие годы: до самой смерти Лейбница, последовавшей в 1716 году, они с Петром состояли в регулярной переписке, и за это время учёный, назначенный в 1712 году тайным советником царя, направил в Россию немало проектов.

* * *

Тот же Александр Брикнер, писавший о Петре с большим уважением, а подчас даже с пиететом, признавал: реформаторские «меры, принятые царём в продолжение первого десятилетия после путешествия на Запад, оказываются некоторым образом бессвязными, отрывочными, произвольными, случайными...» [10. С. 234]. Причина тому не только сам царский норв, в котором сфокусировались два пагубных российских качества: страстное нетерпение в достижении поставленной цели и максималистская нетерпимость к любому мнению, которое хоть на йоту не совпадает с твоим собственным. У молодого царя не было более или менее внятной программы вожделенных преобразований ещё и потому, что он не видел рычага, с помощью которого мог бы начать поворачивать страну в европейском направлении.

Всё в корне переменялось, когда весной 1703 года удалось отвоевать у шведов устье Невы, а в 1709-м одолеть их в битве под Полтавой, которая, наконец, вселила в Петра веру, что Северная война принесёт ему викторию. Именно после Полтавы он написал одному из ближайших своих сподвижников, Фёдору Апраксину: «Ныне уже совершенно камень в основание Санкт-Питербурха положен с помощью Божией» [30. С. 34]. И именно после Полтавы город стал возводиться с удвоенной силой как столица: из Москвы сюда перенесена икона Казанской Божией Матери, началось строительство Летнего дворца Петра, заложен Александро-Невский монастырь...

Что бы кто ни говорил ему о неудобствах неевского устья для столицы, дольше ждать Пётр был уже не в силах. И не что иное, как опять-таки нетерпение, оказалось, скорее всего, главной причиной, по которой столица появилась именно здесь. Петрово детище, Петербург, призван был стать той опорой, на которую можно смело уложить чудо-рычаг, дабы вздёрнуть на дыбы бескрайнюю Россию.

Параллельные заметки. В академическом собрании сочинений Пушкина известные строки из «Медного всадника» звучат так:

*О, мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы? [26. Т. 4. С. 395].*

Тем не менее некоторые дореволюционные литераторы – к примеру Дмитрий Мережковский, – цитировали последнюю строку по иному: ««Россию вздёрнул на дыбы» [23. С. 490].

Это разночтение объясняется тем, что многие пушкинские произведения, в том числе «Медный всадник», не были опубликованы при жизни поэта и оставались только в списках, или, как сказали бы теперь, в самиздате. Полностью поэма появилась через несколько месяцев после гибели автора, причём с переделками, которые Василию Жуковскому пришлось вносить, дабы угодить цензуре. Лишь в начале XX века текст был тщательно выверен по авторской рукописи, и данная строка звучала так, как было у Пушкина и в черновом, и в беловом вариантах: «Россию поднял на дыбы».

А жаль, ведь ««вздёрнул» – да простит меня классик – не только образней, но и точней: поднять можно только на дыбы, а вздёрнуть – ещё и на дыбу.

Правда, опять-таки по поводу того, каким быть новому городу, имелись только общие и весьма смутные идеи. За исключением разве что одной: столица должна быть «регулярной», то есть «правильной».

«Правильность» заключалась в новой европейской эстетике градостроения, вошедшей в моду во многом благодаря главе французской Академии архитектуры Франсуа Блонделю, который утверждал, что «архитектура обязана всем, что в ней есть прекрасного, математическим наукам» и «пропорции – причина красоты». А для этого «обязательно иметь общий план и единый модуль для выдержанных в строгих математических пропорциях прямых улиц, геометрически правильных кварталов, площадей, законченных архитектурно-пространственных композиций дворцов и парков» [3. С. 177].

Надо полагать, эти концепции пришлись Петру по вкусу не только потому, что они действительно были принципиальным шагом вперёд в сравнении с традицией хаотичных и тесных городов прошлого, тем более опыт «регулярного» строительства уже имелся в России – в последние годы XVII и первые годы XVIII века по канонам прямолинейно-прямоугольной планировки были возведены казармы Преображенского и Семёновского полков в Москве, некоторые районы Таганрога и Воронежа, а также несколько крепостей. Эти концепции, кроме того, обещали, что Санкт-Петербург будет совершенно не похож на Москву, и главное – они полностью вписывались в теорию «механической гармонии», которую проповедовали Лейбниц и его школа.

Но вот «общего плана» будущего Санкт-Петербурга долгое время как раз и не было. Вопреки всем принципам «регулярности», вплоть до начала 1710-х годов новая столица росла «испытанным древнерусским методом строительства слобод вдоль древних дорог и по берегам рек. Так возникли на Городском, Адмиралтейском и Васильевском островах слободы, разделяемые по профессиональному, национальному и ведомственному признакам и формирующему характерный для русского Севера гнездовой тип размещения селений» [28. С. 52–53]. Прибывший в юную столицу в 1714 году Ф.-Х. Вебер писал: «Вместо воображаемого мною порядочного города, я увидел кучку сдвинутых друг к другу селений, похожих на селения американских колонистов» [13. С. 5]. Только накануне десятилетия нового города, после той же Полтавы, Пётр вознамерился взяться за дело по – настоящему.

Но и к той поре никакого масштабного и стройного плана у него не появилось. В 1712 году царь издал указ о том, что столице надлежит быть не на невских берегах, а на острове Котлин, и посему жителям – прежде всего трём тысячам наиболее богатых и знатных семей – следует переселяться на новое место. Само собой, желающих бросить едва обустроенное место и перебраться за несколько десятков вёрст на небольшой остров не нашлось. Однако наказать ослушников Пётр не успел. Вскоре он решил строить столицу уже не на Котлине, а

на Выборгской стороне, потом, в 1715 году, последовал новый указ – селиться на Васильевском острове.

А тем временем было предписано вести реконструкцию уже застроенных территорий и осваивать новые рядом с ними. «Появились многочисленные указы о разрешении строить лишь в определённых местах, определённым людям, из строго определённого материала и только по чертежам архитектора» [28. С. 53]. В соответствии с указом от 20 мая 1715 года, жителям Адмиралтейского острова «было велено ломать в слободе около моста “дворы, которые против селений будут”, так как предполагалось, что здесь пройдёт “прямая линия... на Адмиралтейскую башню” Осенью того же года последовало распоряжение “на большой улице” за Зимним дворцом “ломать по времени” строения, которые “в улицу вдалились”, то есть мазанки Макарова, вице-адмирала Крюйса, Чернышова и других высокопоставленных лиц (указ от 16 сентября 1715 г.). По указу от 5 декабря 1717 г., на Адмиралтейском острове должны были быть поставлены вехи, “где быть улицам”, а по ним следовало “очистить” улицы для строения “от старого не по линии”, то есть снести дома и хозяйственные постройки. Через два года “чертёж” улиц на Адмиралтейском острове, выполненный уже умершим к этому времени архитектором Г.И. Маттарнови, был “отставлен”. Теперь требовалось ставить вехи по чертежу архитектора Н. Гербея, а “где надлежит строению по тем вехам в линии быть – перестроить”» [3. С. 120].

За освоением Васильевского острова, куда предстояло переселить до 720 дворян-дворохозяев, Пётр тоже следил строго. Сам остров повелел, ломая старые дома, застраивать исключительно по-новому, как в Амстердаме, даже грандиозней: «все каналы и по бокам их улицы дабы шириною были против Эреграхта Амстердамского», то есть главного и самого широкого в голландской столице. И это на берегу Невы, где почти полгода водные пространства скованы льдом!

Впрочем, Васильевский остров и без всяких каналов совершенно не годился для городского строительства. Он был низким, болотистым, и даже при незначительных наводнениях его на треть заливало водой. На западной оконечности острова Пётр приказал бить сваи и насыпать землю. Но вбили тысячу свай, и всё безрезультатно: каждая ушла в вязкую почву, что называется, по шляпку.

Сама мысль устроить центр столицы на Васильевском острове была абсурдна и по другой причине. Здесь намечалось разместить не только жилые дома, но и правительственные учреждения, откуда предстояло руководить всем государством. И это притом, что остров не имел мостов и в период весеннего ледохода и осеннего ледостава оказывался полностью изолированным от остальных частей города да и от всей страны!

Переменчивая и крайне активная натура Петра постоянно ощущалась во всём. Что бы кто ни строил, на всё имелись указы царя, которые без каких-либо объяснений определяли регламент даже на мелкие детали: «размер дымовых труб, вид кровли, расположение заборов и конюшен на участке, материал строительства и его расцветку... порядок копания прудов и их размеры, установку “чугунных баляс с железными шестами”, шлагбаумы и караульщики из мещан при них, кому можно иметь баню, а кому нельзя, глубину забитых свай, порядок выпаса скота и многое другое» [5. С. 391].

Эти регулярные перепланировки кварталов, улиц и целых частей города, требования бросать старое жильё и переезжать на новое место, безжалостная регламентированность каждого шага вконец измучили первых обитателей Петербурга. О том, как это выглядело на практике, сообщал в своём отчёте на родину прусский посланник Мардефельд: одному из домовладельцев, барону Левенвольде, «сначала приказали мостить улицу вокруг своего дома, потом взяли с него 20 руб. на деревья, которые следовало посадить около него, 3 дня спустя, наконец, после уплаты им всего требуемого, приказали ему совсем снести дом, так как царь хочет выстроить здесь квартал для своих преобразенцев, который должен быть

окончен этим летом.» [3. С. 121]. И далее: «... часть этого дома Левенвольде сдавал внаймы иностранным министрам и имел от этого годовой доход в 400 руб., что ему за это не возвратят ни гроша, это прямо следует из основных законов этой страны, в которой всё принадлежит Богу и царю» [3. С. 121]. «Жители находятся в отчаянии», – приходил к однозначному выводу посланник Мардефельд [7. С. 403].

И никто ничего не мог поделать. За послушание царских распоряжений, грозили самые жестокие наказания, а уклониться от них удавалось далеко не всегда. К тому же зачастую для возмущения не было никаких законных оснований: в Петербурге собственность на землю появилась лишь незадолго до столетнего юбилея города. А потому при Петре участки отбирались по той же схеме, по которой уже на нашей памяти, в начале XXI века, сносились автомобильные гаражи: власти говорили – имущество ваше, забирайте его себе на здоровье, но земля городская, и мы будем распоряжаться ею, как диктуют высшие интересы градостроительного плана.

В результате побывавший в 1734 году на невских берегах швед Берк Карл Рейнхольд (будущий член шведской Академии изящной словесности, истории древностей) отмечал в путевых заметках: «... в Петербурге было построено больше, чем можно увидеть глазами, так как очень многое из хорошо построенного снесено, а взамен построено другое, или же построенное разрушалось до основания и возведено заново» [2. С. 84–85].

***Параллельные заметки.** Сегодня многие убеждены, что Петербург с самого начала был каменным или, по крайней мере, преимущественно каменным. На самом деле это миф, рождённый благодаря растиражированным рассказам о том, как Пётр I издавал указы о запрещении возведения каменных зданий по всей России в связи со строительством Петербурга и обязательной для каждого въезжающего в новую столицу дани в виде трёх камней.*

В реальности всё было наоборот. Во-первых, указ «О запрещении на несколько лет строить во всём Государстве каменные дома», касающийся в том числе, кстати, и Москвы, вышел лишь в 1714 году. Во-вторых, даже после этого большинство зданий в Петербурге строилось из дерева и, в соответствии с модой эпохи, расписывалось ««под кирпич» и ««под мрамур» (то есть под мрамор). А то, что сооружали действительно из кирпича, быстро разрушалось, поскольку, как свидетельствовал один из заезжих иностранцев, Обри де ла Мотрэ, ««материалы, из которых делают кирпичи, настолько плохи, что дома, построенные из этого кирпича, требуют ремонта по крайней мере каждые три года» [24. С. 212]. Неудивительно, что от петровского времени архитектурных памятников в Петербурге осталось очень мало: в Петропавловской крепости – Петропавловский собор и Петровские ворота, на Васильевском острове – дворец Меншикова, здания Кунсткамеры, Двенадцати коллегий и частично сохранившийся Гостиный двор, на углу Моховой улицы – церковь Св. Симеона, на Выборгской стороне – Сампсониевский собор, в Летнем саду – Летний дворец Петра, на Шпалерной улице – Кикины палаты...

Современный историк Петербурга Екатерина Юхнёва констатирует: даже на протяжении всей первой половины XIX века деревянные дома составляли две трети городской застройки, и только в 1880-е годы количество каменных домов стало впервые превышать количество деревянных [31. С. 10–11].

Петербург стал и вправду каменным лишь после Великой Отечественной войны. В годы блокады девять тысяч деревянных строений уничтожили пожары, остальное жители разобрали на топливо для буржжук [11. С. 20]. «Охта деревянная разбита, / Распилили Охту на дрова», – писал Александр Межиров, воевавший на Ленинградском фронте [22. С. 69].

Настоящий план развития Петербурга появился только после 1737 года, когда Анна Иоанновна учредила Комиссию о Санкт-Петербургском строении. После череды опустошительных пожаров, которые бушевали в столице тем летом, необходимо было не просто ликвидировать последствия этого бедствия, но и составить такой план перепланировки города, который позволил бы, если не исключить, то по крайней мере минимизировать возможность столь масштабных катастроф. Комиссия не занималась ни проектированием, ни строительством зданий. Ее задачи ограничивались новой планировкой центра города, а также контролем общих предписанных правил и проектов. По сути, это было первое в истории северной столицы архитектурно-планировочное управление.

Возглавил комиссию Бурхард Миних, но душой её стал «полковник и архитектор» Пётр Еропкин. Именно этот Пётр фактически сформировал основные черты того Петербурга, который мы видим сегодня. Достаточно сказать, что, как предполагается, не кто иной, как Еропкин подал идею между Большой перспективной дорогой и Вознесенской перспективой добавить Среднюю перспективу (будущая Гороховая улица). Этот знаменитый трезубец позже лёг в основу планировочной структуры петербургского центра. Тогда же, во второй половине 1730-х годов, по предложению Комиссии, были проложены будущие Большая и Малая Конюшенные, Владимирская, Звенигородская, Коломенская, Преображенская (позже Николаевская), Рождественская, Садовая, Сампсониевская улицы и ряд других магистралей. Осушены болота в районе Садовой улицы, Сенной площади, нынешних Казанского собора и площади Искусств. Сформирован новый район, названный Коломной... Свои официальные названия обрели 17 улиц, 5 площадей, 5 каналов и 15 мостов.

* * *

Уже через несколько месяцев после рождения Петербург превратился в колоссальную стройку. Несмотря на болотистые почвы, изнуряющий климат, острейшую нехватку материалов и постоянные царские приказы рушить уже возведённое, чтобы строить новое на другом месте, город рос, как в сказке, – не по дням, а по часам.

Впрочем, это был вовсе и не город – это была царская мечта. Грандиозная и дерзновенная, обожаемая до самозабвения. Для такой мечты ничего было не жаль – ни средств, ни людей. Уже к осени 1703 года на строительстве новой столицы трудились 20 тысяч рабочих (или, как их тогда называли, «подкопщиков»), а вскоре по царскому указу из ближних и дальних мест сюда стали сгонять по 40 тысяч ежегодно.

Большую часть рекрутируемых на возведение Петербурга составляли крестьяне-«посоха», для которых временная – для государственных нужд – трудовая повинность при Петре превратилась в постоянную. «“Посошане”... – пишет Евгений Анисимов, – должны были приходить тремя сменами, которые работали по очереди по два месяца, начиная с 23 марта и кончая 25 сентября... но в отдельных случаях высылали работников в Петербург и зимой. Партии работных шли... организованно, разбитые на десятки во главе с “десяцким” (или «старшим»), нередко – под охраной, иногда даже в цепях, с провожатым из местных дворян или подьячих. Этот человек назывался “приводчиком” и был обязан “тех людей в дороге вести с бережением и кормить их довольно”» [7. С. 116]. Формально кормили «посошан» за счёт казны, но в реальности эти средства собирались в губерниях – по рублю в месяц на человека [7. С. 117].

Ещё одна ударная сила гигантской стройки – каторжники, новое явление в истории отечественной пенитенциарной системы. До Петра Россия каторги не знала. Этот вид принудительного труда впервые был применён царским указом 24 ноября 1699 года, и уже с 1703-го каторжники отправлялись не куда-нибудь, а на строительство Петербурга. Причём, как отмечает историк Александр Марголис, «вне зависимости от вины, то или иное число пре-

ступников осуждалось на каторгу, исходя из потребности <царского «парадиза»> в даровой рабочей силе» [21а. С. 8–9]. Сколько каторжников трудилось на строительстве новой столицы в первые годы после её рождения, неизвестно. Но даже в 1720-е годы их насчитывалось не менее 10 тысяч. «Для тогдашнего Петербурга масса огромная», – оценивает это количество Евгений Анисимов [7. С. 376]. Среди каторжников невские берега слыли куда страшнее Сибири. «Место это считалось гиблым. Летом каторжники, прикованные к вёслам, гребли на галерах, зимой же они всюду встречались в столице – били сваи в фундаменты домов. На ночь каторжников вели в острог и приковывали к стенкам или клали в “лису” – длинное, разрезанное вдоль надвое бревно с прорезями для ног, которое запирали замками. Жизнь этих изгоев обычно в Петербурге была короткой» [7. С. 374–375].

И наконец, третья категория отверженных – военнопленные. Они содержались и работали наравне с каторжниками. Царь испытывал уважение только к высшим офицерам противника, остальные для него были такими же рабами, как и собственный народ.

По утверждению большинства очевидцев и исследователей, во времена Петра сгоняемые на стройку крестьяне, каторжники, военнопленные гибли бесчётно. Именно так, ибо никто погибших не считал. Жившие в ту пору в России иностранцы утверждали, будто за первые полтора десятка лет число умерших рабочих достигало не то 60, не то 80, а не то и 100 тысяч [21. С. 86–87]. Русские историки, избегая даже примерных подсчётов, писали только о массовой, прежде невиданной гибели людей. Николай Карамзин: «...Петербург основан на слезах и трупах» [16. С. 37]. Василий Ключевский: «Едва ли найдётся в военной истории побоище, которое вывело бы из строя больше бойцов, чем сколько легло рабочих в Петербурге.» [19. Т. 2. С. 483]. Николай Анциферов: «Вряд ли найдётся другой город в мире, который потребовал бы больше жертв для своего рождения, чем Пальмира Севера. Поистине Петербург – город на костях человеческих» [8. С. 34]. То же самое сказал о строительстве северной столицы русский народ: богатырь его построил, топь костями забутил. Шут Иван Балакирев говорил Петру: «...с одной стороны – море, с другой – горе, с третьей – мох, а с четвёртой – ох!» (собиратель городского фольклора Наум Синдаловский отмечает, что молва приписывает Балакиреву «авторство этой первой петербургской пословицы» [29. С. 48]).

Однако существует в петербурговедении и прямо противоположное мнение: всё это преувеличения, основанные на пустых слухах, а в действительности никакой массовой гибели среди первых строителей Петербурга не было.

Апологеты Петра из века в век неустанно создавали благодетельную историю первых лет строительства Петербурга. Так, С. Гречушкин, выпустивший в 1910 году книгу «Из русской истории. В Петербурге при Петре Великом», утверждал, будто «желающим переселиться в Петербург давались всякие льготы: дарили участки земли, выдавались субсидии на постройки, торговых людей освобождали от повинностей». Современный историк Ольга Кошелева, цитируя эти строки, восстанавливает более реальную картину: «...действительно, некоторые из первых поселенцев получили “данные” грамоты на землю под двор, все должны были получать “субсидии” в виде подмоги, денежное и продовольственное жалование в Петербурге из-за дороговизны петербургской жизни было значительно выше, чем в других городах, однако всё это делалось не с целью заинтересовать людей переездом, а с тем, чтобы обеспечить выживание тех, кто направлялся в Петербург в указном порядке. Поэтому термин “льготы” в данном случае вряд ли является уместным. Ни в одном из правительственных указов о льготах или каких-либо преимуществах петербургской жизни не говорилось. “Торговых людей” отнюдь не “освобождали от всяких повинностей”. Покинув свой посад, они не могли избежать тягла, а должны были его платить уже в Петербурге в прежнем размере» [20. С. 26]. Это те, кто считался вольным, а что говорить о подневольных? Их Пётр сравнивал с зубьями в гребне и, требуя прислать новых подданных, так объяснял

причину в одном из писем: «...понеже при сей школе много учеников умирает, того для недобро голову чесать, когда зубы выломаны из гребня» [7. С. 135].

Иногда поклонники Петра в своём стремлении выдать чёрное за белое доходят просто до абсурда. Так, современный историк Густав Богуславский, рассказывая о грандиозном банкете, который был устроен в конце лета 1724 года по случаю перенесения мощей Александра Невского из Владимира в Петербург, приводит «поразительный документ: деловые записки монастырского казначея о расходах на этот банкет». И далее автор живописует, какое необычайно огромное количество разнообразных яств было доставлено к столам участников пиршества, а в завершение делает совершенно неожиданный вывод: «Согласитесь, документ производит на современного читателя ошеломляющее впечатление. Прежде всего тем, что даёт представление о реальных масштабах не только торжественного мероприятия, но и бытового наполнения повседневной жизни, сформировавшейся в молодой столице всего лишь за 20 лет существования города. Это представление особенно важно для нас, потому что разрушает странное убеждение о том, что Петербург в тот период своей истории был каким-то странным городом, “построенным на костях” и ведущим какое-то призрачное существование, далёкое от того, которым жила вся остальная Россия» [9. С. 95–96]. Неужели уважаемый историк хотел сказать, будто так, в лукулловых пирах, жили не только Пётр I и его окружение, но и все петербуржцы, а заодно и «вся остальная Россия»?

Ещё один современный исследователь, Ольга Агеева, многие работы которой без всякого преувеличения могут считаться серьёзным вкладом в изучение петровской эпохи истории Петербурга, обратилась ещё к одному архивному документу – «Ведомости о прешпективной дороге», «поданной подполковником Путиловым в 1717 г. на основе справки из Санкт-Петербургской канцелярии». Историк выписала из «Ведомости» число умерших при строительстве будущего проспекта: 27 душ. Затем это количество экстраполировала на ту смертность, которая могла быть при строительстве всего города в 1703–1715 годах. В итоге получилось 1932 человека, в среднем около 150 ежегодно [4. С. 301–302]. И это в России, где человеческая жизнь всегда ничего не стоила, а чудовищные искажения отчётности считались непреложным правилом и на мёртвых душах как по чичиковской, так и по другим, куда более примитивным схемам зарабатывали все, кому не лень! Не надо быть большим специалистом, чтобы понять: смертность рабов, живших в тяжёлом климате, в примитивных бараках и шалашах, плохо питавшихся и не знавших медицинской помощи да к тому же занятых на тяжелейших работах от темна до темна, никак не могла соответствовать, по сути, санаторным нормам.

Да и зачем заниматься сомнительными расчётами, если есть документы, наглядно доказывающие, каково было реальное положение дел? Вот одна из записок первого петербургского губернатора Александра Меншикова, которую он послал в 1716 году кабинет-секретарю царя Алексею Макарову: на строительстве Петергофа и Стрельны «больных зело много и умирают непрестанно, из которых нынешним летом больше тысячи померло». А в конце просьба – не сообщать Петру Алексеевичу сей прискорбный факт, «понеже, чаю, что и так неисpravления здешние Его царское величество не по малу утруждают» [6. С. 15]. «Больше тысячи померло», и – концы в воду! А вот ещё один широко известный факт: на возведении Ладожского канала, начавшемся в 1718 году, смертность была настолько чудовищна, что вскоре все окрестности превратились в сплошной погост и руководивший работами Бурхард Миних в конце концов приказал снести все кресты, боясь, как бы рабочие не разбежались при виде этой зловещей картины.

Даже после того, как в том же 1718-м с подачи обер-комиссара Петербурга князя Алексея Черкасского, который сумел убедить Петра, что рабский труд обходится дороже вольнонаёмного, людская развёрстка по городам начала сокращаться и в 1721-м натуральная трудовая повинность была окончательно отменена, – даже после этого «без каторжников,

военнопленных, солдат, работных команд из крестьян, мастеровых “вечного житья” стройка не обходилась...» [7. С. 125].

...Предельно кратко аттестовал деятельность Петра русский историк Александр Кизеветтер: террор [25. С. 635]. Именно такой виделась первая четверть XVIII столетия не только с высоты позднейших времён, но и в сравнении с предыдущим царствованием – Алексея Михайловича. Тогда смертная казнь была предусмотрена в 60 статьях российского законодательства, а при Петре I – в 90; и это не считая множества петровских указов, которые за малейшее прегрешение тоже карали смертью. В течение 26 лет правления «тишайшего» царя Алексея по политическим делам было репрессировано несколько сотен человек, а за петровские 36 лет (фактически 29) – свыше 60 тысяч. При Алексее об уменьшении жителей страны и речи быть не могло, в результате же петровских преобразований исчезла минимум пятая часть тяглого населения – две трети погибли, а ещё 200 тысяч (по официальным, а значит, далеко не полным данным 1720-х годов) находились в бегах. Многие бежали и с петербургской стройки. Вот ещё одно документальное свидетельство, которое приводит Пётр Столпянский: «А которые работные люди были на Тосне реке, ныне все разбежались...» [30. С. 39].

В общем, как говаривал шут матери маленькой девочки Анны, племянницы Петра и будущей царицы Анны Иоанновны, «нам, русским, хлебушка не надо, мы друг друга поедом едим» [1. С. 93].

***Параллельные заметки.** По иным источникам, примерно то же говаривал петербургский юродивый первой половины XVIII века Тихон Архипович: «Нам, русским, не надобен хлеб; мы друг друга едим и с того сыты бываем» [14. С. 473]. Позже это присловье стали приписывать Артемию Вольтинскому, современнику Анны Иоанновны [17. С. 108]. Скорей всего, и историческая легенда, и выдающийся историк не грешат против истины, приписывая схожее высказывание разным людям. Видимо, то была народная поговорка, которая запомнилась на века, ибо чуть не в каждую эпоху сохраняла свою актуальность.*

Что же касается упорного нежелания апологетов Петра I признать, что в первой четверти XVIII века Петербург строился «на костях человеческих», то оно чаще всего продиктовано псевдопатриотизмом, для которого факты массового убийства властями своего народа или чужого (достаточно вспомнить многолетнее нежелание подтвердить ответственность советского режима за Катынскую трагедию) – не что иное, как очернение отечественной истории. Но История имеет настолько почтенный возраст, что румяна ей не нужны, они её лишь уродуют. Если нация, вместо того чтобы выучить исторический урок, пытается делать вид, будто такого урока вовсе и не было, История в отместку наказывает весь народ повторением прошлого.

И ещё один вопрос: каким же образом петровское душегубство могло сочетаться с воззрениями Лейбница и его учеников на всемирную гармонию и всемерную заботу государя о своих подданных? Оказывается, могло, и очень успешно, поскольку Лейбниц в своём труде «Теодицея» (1710) писал, что «зло зачастую помогает заставить больше любить благо, а иногда способствует усовершенствованию того, кто его терпит: так посеянное в почву зерно подвергается чему-то вроде разложения для того, чтобы прорасти» [27. Т. 3. С. 292]. Конечно, многие строители «парадиза» умирали, так и не достигнув ни усовершенствования, ни блага, но ведь и при самом богатом урожае прорастают далеко не все зёрна.

* * *

К концу царствования Петра I Петербург стал вторым по численности населения городом России после Москвы. В нём жили, как пишет большинство историков, 40 тысяч человек, а по расчётам Евгения Анисимова – даже 70–80 тысяч [7. С. 363]. Город простирался от Васильевского острова до Охты на 14 километров, а от Фонтанки до Карповки на 11.

Официальные лица не уставали восхищаться новой столицей. Обер-иеромонах Балтийского флота Гавриил Бужинский, обращаясь к Петру, воспевал её чуть не как ещё одно чудо света: «Богу поспешествующу прекрасными зданиями украшенный, паче же всему тебе собственно, яко премудрейшему и первейшему его зодчему начало свое долженствующий... Всякое зрение к себе восхищающий превесёлый удивительныя красоты исполненный... вертоград, художественными водомётами орошаемый, всякими иностранными древами, при исходищах вод насажденными и плоды во время свою дающими, обогащенный, цветами преизрядными испещренный, столпами драгоценными прославленный» [3. С. 58].

Однако в неофициальной обстановке нередко те же люди говорили совсем иное. «В своём сочинении о России переводчик прусского посольства в Петербурге И.Г. Фоккеродт с удивлением замечал, что “похвалы в общественных беседах” преобразованиям Петра I сменяются у русских “другой песней”, “если имеешь счастье коротко познакомиться с ними и снискать доверенность”» [3. С. 70–71]. По свидетельству того же Фоккеродта, «ненависть... к нему (Петербургу. – С. А.) русских так велика, что они никогда не завели бы там значительной торговли, если бы только это было в их руках.» [3. С. 70–71].

Причина этого чувства объяснялась не только и, возможно, даже не столько тем, что тысячи людей приехали и оставались здесь не по своей воле. Жить в этом климате и сырости было неимоверно тяжело. Ф. В. Берхгольц отмечал, что «квартиры в петербургских домах – мучение: “под моею спальнею – болото, отчего полы, несмотря на лето, никогда не были сухими”, половицы покрыты каёмкой плесени, и дамы в каблуках непременно проваливались бы в щели.» [7. С. 403]. Но главное – с самого начала Петербург строился не для его жителей. Улицы и «перш-пективы» в невском «парадизе» были прямы, словно стрелы, дома, почти сплошь спроектированные по единому образцу, стояли, будто солдаты в строю, площади для воинских смотров были огромны, как сама Россия. Это был город не для людей, это был памятник державному всемогуществу и распланированному порядку. И глубоко символично, что сердцем этого чудо-города стала крепость-твердыня: самое первое строение, которое почти сразу превратилось в политическую тюрьму и усыпальницу.

Этот город возводился во имя идеи, которую должен был олицетворять, – идеи величия и мощи государства. Он с самого начала являлся фасадом империи, демонстрацией российской европейскости и готовности как торговать со Старым Светом, так и воевать с ним.

Вот две исчерпывающе краткие и почти одинаковые оценки, определяющие суть северной столицы России. Одна принадлежит американской исследовательнице Катерине Кларк: «...“Петербург” никогда не был только образцом современного города – он всегда был также системой символов. Строительство города было политическим жестом, предназначенным не только для того, чтобы принести ещё большую славу Петру и его преемникам, но также для того, чтобы утвердить модель нового социополитического и культурного порядка, который он установил» [18. С. 139]. А вот схожее мнение российского учёного Константина Исупова: «Петербург – осуществлённая утопия. Это город-эксперимент, будущая модель всего государства» [15. С. 8].

Модель, которую внедрил Пётр I на невских берегах, существует до наших дней: государство первично, а народ вторичен, власть всегда лучше подданных знает, что им хорошо, а что вредно, процветание страны не в народном благоденствии, а в реализации уникальных

и крайне дорогих мегапроектов – будь то самые роскошные в Европе дворцово-парковые ансамбли, циклопические гидроэлектростанции или крупные города в зоне вечной мерзлоты. И первым таким мегапроектом в современной российской истории стал Петербург – самый дорогой памятник деспотизму российской власти; дорогой не только по деньгам, но и по жизням человеческим.

Литература

1. Занимательные рассказы из русской истории (XVIII век). М., 2000.
2. Санкт-Петербург: Автобиография / Сост. М. Федотова, К. Королёв. М.; СПб., 2010.
3. *Агеева О.Г.* «Величайший и славнейший более всех градусов на свете» – град святого Петра (Петербург в русском общественном сознании начала XVIII века). СПб., 1999.
4. *Агеева О.Г.* Петербургские слухи (К вопросу о настроениях петербургского общества в эпоху петровских реформ) // Феномен Петербурга. СПб., 2000.
5. *Анисимов Е.* Время петровских реформ. Л., 1989.
6. *Анисимов Е.* Первейший зодчий: Тайнство рождения Санкт-Петербурга // Родина. 2003. № 1.
7. *Анисимов Е.В.* Петербург времён Петра Великого. М., 2008.
8. *Анциферов Н.П.* «Непостижимый город...». Л., 1991.
9. *Богуславский Г.А.* 100 очерков о Петербурге. Северная столица глазами москвича. М., 2011.
10. *Брикнер А.Г.* История Петра Великого. М., 1991. (Репринт изд. 1882 г.)
11. *Ваксер А.* Ленинград послевоенный. 1945–1982 годы. СПб., 2005.
12. *Дашкова Е.Р.* Записки. М., 1990. (Репринт изд. 1859 г.)
13. *Длуголенский Я.Н.* Век Анны и Елизаветы. Панорама столичной жизни. СПб., 2009.
14. *Душенко К.* Цитаты из русской истории от призвания варягов до наших дней: Справочник. М., 2005.
15. *Исупов К.Г.* Диалог столиц в историческом движении // Москва – Петербург: pro et contra / [Сост. К.Г. Исупов]. СПб., 2000.
16. *Карамзин Н.М.* О древней и новой России в её политических и гражданских отношениях // Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России. М., 1991.
17. *Кизеветтер А.А.* Исторические силуэты. Ростов н/Д, 1997.
18. *Кларк К.* Москва и Петербург в тридцатые // Санкт-Петербург: окно в Россию. Город, модернизация, современность: Материалы международной научной конференции. Париж, 6–8 марта 1997. СПб., 1997.
19. *Ключевский В.О.* Русская история. Полный курс лекции: В 3 т. Т. 3. Ростов н/Д, 2000.
20. *Кошелева О.* На вечное жительство: Как заселялась северная столица // Родина. 2003. № 1.
21. *Мавродин В.* Основание Петербурга. Л., 1983.
- 21а. *Марголис А.Д.* Тюрьма и ссылка в императорской России. Исследования и архивные находки. М., 1995.
22. *Межиров А.* Стихотворения. М., 1973.
23. *Мережковский Д.С.* Не мир, но меч. Харьков-М., 2000.
24. *Мотрэ О. де ла.* Из «Путешествия...» // *Беспярых Ю.Н.* Петербург Петра I в иностранных описаниях. Л., 1991.
25. *Поляков Л.В.* Россия и Пётр // Пётр Великий: pro et contra. СПб., 2001.
26. *Пушкин А.С.* Полное собрание сочинений: В 10 т. М., 1962–1966.
27. *Реале Дж., Антисери Д.* Западная философия от истоков до наших дней: В 3 т. СПб., 1996.

28. *Семенов С.В.* К истории градостроительного осознания Санкт-Петербурга в первой половине XVIII века // Петербургские чтения: Научная конференция, посвящённая 290-летию Санкт-Петербурга, 24–28 мая 1993 года: Тезисы докладов. Выпуск 1. СПб., 1993.
29. *Синдаловский Н.А.* Санкт-Петербург: Энциклопедия. СПб., 2008
30. *Столпянский П.Н.* Петербург. Как возник, основался и рос Санкт-Питер-Бурх. М., 2011.
31. *Юхнёва Е.Д.* Петербургские доходные дома: Очерки из истории быта. М., 2008.

Пётр Первый. Кровь вторая

*...и смотрели с восторгом арап,
и татарин, и выкрест:
– Ах, какой он простой!
– Ах, какой замечательно свой!
– До чего ж потрясающе наш!
Одним словом, антихрист.*

Николай Голь

Почему северный демиург строил на берегах Невы европейскую столицу, а выросла столица тоталитаризма

Когда в устье Невы ещё возводились первые здания, Пётр уже писал указы, предусматривающие плановую застройку также и Москвы (эти указы в апреле 1728 года отменил Верховный тайный совет, правивший при малолетнем Петре II). Северному демиургу не терпелось распространить градостроительные принципы будущей новой столицы по всему своему царству.

Петербург – концептуальный город, и родился он как образец всей будущей России. Каков будет этот образец, можно было догадаться уже по тому, что возводилась новая столица преимущественно рабским трудом. Здесь, на берегах Невы, выросал не просто регулярный город, а прообраз регулярной страны, в которой всё следовало устроить правильно, по науке – рационально, чётко и эффективно. Чтобы всё и вся было на своём месте, работало по раз и навсегда заведённому порядку, подобно тому, как устроены небесная механика или рукотворный механизм. И всё это во имя главного божества – Государства.

«До <Петра>, – писал Василий Ключевский, – в ходячем политическом сознании народа идея государства сливалась с лицом государя... Пётр разделил эти понятия, узаконив присягать раздельно государю и государству. Настойчиво твердя в своих указах о государственном интересе, как о высшей и безусловной норме государственного порядка, он даже ставил государя в подчинённое отношение к государству, как к верховному носителю права и блюстителю общего блага. На свою деятельность он смотрел как на службу государству, отечеству <...> Самые эти выражения *государственный интерес, добро общее, польза всенародная* едва ли не впервые являются в нашем законодательстве при Петре» [26. Т. 3. С. 72]. Именно при Петре государство начало превращаться в молох. В том же XVIII веке, при Екатерине II, «петровское понятие “пользы отечества” окончательно приняло форму официального, имперского патриотизма, который, как и национальное самосознание, нуждался в истории для воссоздания исторической преемственности, то есть самого права на империю» [25. С. 389]. С тех пор и по настоящее время почти все российские правители провозглашали государственный интерес в качестве главного условия всенародной пользы и блага. По крайней мере на официальном уровне.

Современный историк Евгений Стариков так охарактеризовал политические воззрения первого российского императора: «Идея о том, что вне государства есть ещё какая-то Россия, казалась Петру бредовой. И уж никак не могла прийти в его голову мысль, что государство должно служить России, а не наоборот» [43. С. 302]. То, что так считал первый российский император, а затем и его последователи – это, как говорится, ещё полбеды. Истинная беда в том, что со временем точно так же стало думать и большинство российского народа.

...Точильный камень в токарном станке вращается с помощью приводного ремня. В государственном механизме, по мнению Петра, ту же ведущую роль должны выполнять армия, чиновники и полиция вкупе с политическим сыском. Эти «приводные ремни» полностью определили лицо и дух Петербурга не только в петровские времена, но и в дальнейшем, вплоть до тех пор, когда он перестал быть столицей. А затем тот же характер обрела советская Москва.

***Параллельные заметки.** Фёдор Достоевский назвал Петербург «умышленным» городом. Это определение часто повторяют, вкладывая в него упрощённый смысл – город, выстроенный по замыслу. А ведь, по Словарю Владимира Даля, таково значение лишь глагола «умыслить», тогда как существительное «умышленье» имело куда более грозный смысл и употреблялось обычно с прилагательными «злое» и «вражье».*

* * *

Побывавший на невских берегах в 1839 году французский маркиз Астольф де Кюстин аттестовал Петербург коротко и ёмко: не то «военный лагерь, превращённый в город», не то «штаб-квартира армии» [28. С. 80, 140].

И действительно, с самого основания доминантными здесь всегда являлись постройки, так или иначе связанные с войной или предназначенные для военного ведомства: Петропавловская крепость, Адмиралтейство, Преображенский, Измайловский и прочие полковые соборы, казармы, занимающие по несколько кварталов, манежи для конной выездки, огромный и величественный Главный штаб, военные учебные заведения... И основу городской промышленности изначально составляли, выражаясь современным языком, предприятия ВПК: кораблестроительные верфи (помимо того же Адмиралтейства – Скампавейная, Галерная, Охтинская), Смольный двор, на котором хранилась корабельная смола и вываривался дёготь, Литейный пушечный двор, пороховые заводы (причём не только в районе Ржевки, но и на Петербургской стороне, ведь Большая Зеленина улица своим названием обязана не зеленщикам, а «зелью», как тогда назывался порох), Сестрорецкий оружейный завод и многие другие.

Если сегодня с улиц, набережных и площадей Петербурга мысленно убрать все здания, сооружения, памятники, в какой-либо мере связанные с военным производством, подготовкой военнотружущих, военными победами, управлением войсками и проч., город вмиг потеряет своё прежнее лицо и, больше того, превратится в полупустыню.

Не только здания и сооружения – сам дух, который вдохнул в свою столицу северный демиург, был глубоко милитаризован, и петровские наследники его лишь приумножали. «Русский государственный строй, – писал де Кюстин о Петербурге Николая I, – это строгая военная дисциплина вместо гражданского управления, это перманентное военное положение, ставшее нормальным состоянием государства» [28. С. 75]. Конечно, вооружившись патриотическим усердием, в книге А. де Кюстина «Россия в 1839 году» можно выискать немало предвзятостей, ошибок, непонимания отдельных сторон российского бытия. И многие отечественные критики занимались этим с превеликим удовольствием. Но с принципиальными выводами маркиза, которые он сделал в связи с увиденным в Петербурге, нельзя не согласиться. Эта картина до боли знакома и нам: по сегодняшней жизни – лишь частично, но по советской-то – в полной мере.

***Параллельные заметки.** Астольф де Кюстин был убеждённым монархистом и в Россию приехал, чтобы на её примере убедиться в благотворности именно этого способа государственного управления. Однако вместе с тем маркиз имел отличное зрение и был трезво*

мыслящим человеком. Апофеоз самодержавия, с которым он столкнулся в Петербурге и Москве, поразил маркиза настолько, что он написал книгу, которая по сей день может служить катехизисом антимонархиста. Эти записки имели бешеный успех: они были переведены почти на все европейские языки и, по подсчётам современного историка Сергея Мироненко, их общий тираж достиг 200 тысяч (!) экземпляров [32. С. 268].

В иные времена военные составляли до четверти всех жителей северной столицы. Но это вовсе не ослабляло присутствие войск в приграничных районах или на других территориях государства. К концу правления Петра вооружённые силы России насчитывали «210 тысяч регулярных и 110 тысяч вспомогательных солдат (казаков, иноземцев и т. д.), а также 24 тысячи моряков. В отношении к населению... военная машина такого размера почти втрое превышала пропорцию, которая считалась в Европе XVIII в. нормой того, что способна содержать страна, а именно одного солдата на каждую сотню жителей [37. С. 170].

Необычайно высокая концентрация армейских полков в северной столице ни в коей мере не была продиктована необходимостью её защиты от какого-либо врага. Армия являлась многофункциональным институтом: помимо участия в войнах и парадах, в её задачи входили охрана царствующей особы и наиболее важных объектов, поддержание порядка и подавление народных бунтов, выполнение тяжёлых строительных работ (с «лёгкой» руки Петра русский солдат до самых недавних дней оставался дармовой рабочей силой).

Из 36 лет своего правления Пётр I провёл 28 – с турками, шведами, персами, не говоря постоянно войне с собственным народом. Но для Старого Света той эпохи это не было чем-то необычным. Тем не менее в сравнении с императорами и королями европейских государств, русский царь не отличался особой воинственностью. «Дело в другом. Пётр был убеждён, что армия – наиболее совершенная общественная структура, что она – достойная модель всего общества» [6. С. 203]. Более того – возможно, самая достойная, имеющая «первостепенное значение для благополучия всякой страны» [37. С. 169].

Однако и в этой самой совершенной структуре создаваемого государства Пётр выделил ещё более совершенную, а главное, надёжную – гвардию (Преображенский и Семёновский полки), наделив её исключительными полномочиями. Он поставил гвардию над всей системой управления страной и подчинил себе напругую.

Это был государственный кулак, во сто крат страшней царской палки. «В 1706 году к фельдмаршалу Шереметеву, главнокомандующему русской армией, направленному для подавления астраханского восстания, приставлен был в качестве личного представителя государя гвардии сержант Михайло Щепотев, – рассказывает историк Яков Гордин. – Щепотев получил по указу Петра очень большие полномочия. “Что он вам будет доносить, извольте чинить”, – наказывал царь фельдмаршалу. И не главнокомандующий, а гвардии сержант пользовался полным доверием царя. Гвардии сержанту вручалось право “смотреть, чтоб всё по указу исправлено было, и буде за какими своими прихоти не станут делать или станут, да медленно, – говорить; а буде не послушают, сказать, что о том писать будешь ко мне”» [17. С. 85–86]. И на заседаниях Сената тоже сидел свой гвардеец, который в силу собственного безграмотного разумения внимательно следил, как да о чём говорят господа сенаторы и, если что не так, извещал о сём государя.

***Параллельные заметки.** Через две сотни лет большевики с той же целью ввели институт комиссаров. Сперва они приглядывали за военспецами (кадровыми офицерами старой Российской армии, пошедшими или насильно угнанными на службу в РККА), потом – и за выпускниками своих же, советских, военных училищ и академий, а в дальнейшем – за директорами предприятий, вузов и НИИ, даже крупных государственных ведомств.*

Однако институт комиссаров, ограниченный в своих устремлениях партийными и кагебистскими силами, ни разу на протяжении советской эпохи не сумел обрести всевластия, да и не посягал на такое. А вот гвардия после смерти Петра и до самого конца XVIII века, лишённая сдержек и противовесов в лице упразднённых первым императором каких бы то ни было представительных структур, не раз де-факто оказывалась главной в государстве. Гвардейцы убивали тех царей, которые были им неудобны, и ставили других, по их мнению, более подходящих для роли «помазанника Божия». Делать это им было тем проще, что Пётр к тому же десакрализовал российскую власть – кто ж не видел царя и в работе, как простого плотника, и в пьяных загулах? «Этот “гвардейский парламент”, сам принимавший решения и сам же их реализовавший, был, пожалуй, единственным в своём роде явлением в европейской политической истории...» – резюмирует Яков Гордин [16. С. 124].

Те, кто не носили военного мундира, носили чиновничий. За время своего правления Пётр увеличил число чиновников вчетверо. В общем-то, сам этот факт вполне закономерен. На исходе XVII века число приказных в Москве составляло около трёх тысяч, что для страны с 12-миллионным населением было явно маловато. Но смысл петровской реформы государственного аппарата состоял не просто в увеличении чиновников и качественном совершенствовании их деятельности. Пётр изменил саму природу государственного управления, превратив чиновничество в новый, невиданный до тех пор в России класс – не просто властную, а всевластную вертикаль.

Введённая в 1722 году Табель о рангах закрепила эту 14-ступенчатую государственную пирамиду и к тому же придала ей явно выраженный военизированный характер, поскольку отныне гражданский чин каждого класса чётко соответствовал чину военному. А поскольку свобода предпринимательства и лиц независимых профессий (врача, юриста, учёного, деятеля искусства) была ограничена до минимума, фактически любая карьера оказалась связанной с государственной, то есть военной или чиновничьей, службой. И неудивительно, что в этих условиях чиновничество мгновенно превратилось в непомерно разрастающуюся структуру. К временам Екатерины II оно увеличилось в три раза, а к концу правления Николая I – ещё в шесть раз; при этом и в одном, и в другом случае население страны выросло лишь вдвое. Всю эту систему чиновничьего государства коротко и точно охарактеризовал в своём личном дневнике профессор Санкт-Петербургского университета Александр Никитенко: «В России не служить – значит не родиться. Оставить службу – значит умереть» [35. Т. 2. С. 245].

По сути, Пётр осуществил бюрократизацию России. Уже при нём чиновники быстро и навсегда стали самыми ненавидимыми. Кровавое семя, бумажная душа, канцелярская крыса – как только ни обзывал чиновников народ! Но эта ненависть очень многим нимало не мешала самим мечтать о государевой службе. Да, принадлежность к этой властной вертикали означала неминуемое пресмыкание перед вышестоящими, однако она же гарантировала возможность повелевать не только нижестоящими, но и всеми, кто не принадлежит к чиновной корпорации. Зачастую даже графы и князья зависели от какого-нибудь чиновника средней руки, ибо он решал, как двинется нужная им бумага из канцелярии на самый верх.

Принято считать, будто в бюрократическом государстве чиновники являются хозяевами страны. Если бы так! Хозяева берегут и приумножают свою собственность, тогда как бюрократия ведёт себя, словно завоеватель, неустанно грабя и разоряя страну и её жителей. Фактически благодаря Петру I Россия получила в лице огромной чиновничьей армии второе монгольское иго. Вот уже триста с лишним лет мы платим постоянно растущую дань нашей ненасытной бюрократии, которая держит в постоянной нищете и Россию, и российский народ.

Коррупция, словно ржавчина, с самого начала разъедала создаваемую Петром государственную систему. Причём мздоимство и казнокрадство процветали даже среди высших сановников. Почти все приближённые царя – и те, кто обладал богатством до него, и те, кто был обязан своим состоянием исключительно царю, – брали огромные взятки и воровали. Правая рука императора, Алексашка Меншиков, вознёсшийся – в прямом смысле слова – из грязи в князи, да к тому же «светлейшие», в считанные годы стал самым богатым человеком не только в России, но и во всей Европе.

Пётр, при виде ужасающих масштабов такого бедствия, создал специальную систему контроля, расправлялся с преступниками немилосердно, не жалел даже иных близких соратников. Однако ничто не помогало. В 1722 году царь вынужден был казнить даже Алексея Нестерова – обер-фискала, назначенного, чтобы бороться с воровством, и в итоге обвинённого в масштабных злоупотреблениях. За малейшее прегрешение канцеляристов по всей стране пороли регулярно и прилюдно – в Петербурге под окнами канцелярий на Троицкой площади и коллегий на Васильевском острове. В 1721-м тело казнённого за воровство губернатора князя Матвея Гагарина несколько месяцев висело напротив того же здания коллегий, дабы всякий, едва глянув в окно, мог хорошенько запомнить, что его ждёт за кражу государственной собственности.

Однако, что бы Пётр ни предпринимал, коррупция продолжала расти, намного обгоняя рост и государства нового типа, и новой столицы.

Парадокс, но преступным путём, не останавливаясь перед возможным жесточайшим наказанием, чиновный люд обкрадывал то, что сам же, по велению царя, и строил! Это противоречие ставило в тупик многих иностранцев. В действительности причина, как это обычно бывает, крылась не в самих коррупционерах, а в системе. Государство всегда было вотчиной царя, а для всех прочих, включая чиновников высшего ранга, оно оставалось чужим.

Когда страна живёт не по законам, защищающим граждан и их собственность, а по понятиям, которые то и дело меняются в зависимости от прихоти верховного правителя, – у каждого, от крепостного крестьянина до высшего сановника, укореняется подсознательное ощущение скоротечности всего происходящего, неверие в своё будущее и стремление жить только нынешним днём. Отсюда, в частности, неуёмная, ничем не сдерживаемая жажда обогащения: действуй сейчас – завтра или царь, или тот, кто сильнее тебя, отберет, всё, что у тебя есть, а не то и саму твою жизнь. В этих условиях понятия порядочности, чести и достоинства, совести, морали, нравственности – всё это превращается в химеры, вызывающие у большинства пренебрежительную ухмылку.

Параллельные заметки. Пётр считал, что на самом деле порок скрыт не в созданной им системе, а в человеческой природе. Над наивностью царя, его непониманием взаимоотношений человеческой психологии и социального устройства можно было бы посмеяться. Но вот аналогичный исторический факт, имевший место спустя двести лет: Ленин, столкнувшись с теми же проблемами при строительстве своей, ещё более жёсткой государственной системы, самым серьёзным образом упрямо пытался развивать РАБКРИН – Рабоче-крестьянскую инспекцию, которая, как он свято верил, должна навести порядок в советском царстве.

* * *

С коррупцией, а также с любыми другими преступлениями против государства и своей собственной персоны, которая это государство олицетворяла, Пётр боролся, выстраивая мощную, прежде невиданную на Руси репрессивную машину. В неё, в частности, входили

Преображенский приказ (1690-е – 1729) и Тайная канцелярия (1718–1726), институты фискалов и прокуроров, Рекетмейстерская контора, куда стекались доносы с жалобами на чиновников, ну и, конечно, полиция, про которую царь сказал, что она «есть душа гражданства и всех добрых порядков». Одной из первых, если не самой первой, назвала режим Петра «полицейским государством» Екатерина II. Правда, вовсе не в том смысле, который этому выражению придаётся в наши дни. Начиная с XVIII века и вплоть до начала XX-го оно означало «государство, в котором правитель заботится о благосостоянии подданных и стремится создать его путём активного вмешательства в их повседневную жизнь» [25. С. 352].

Репрессивные службы как в петровской столице, так и по всей стране не сидели без дела. Царь-реформатор написал около 400 указов уголовно-правового характера, и за нарушение всех таких указов грозили жесточайшие наказания, вплоть до высшей меры. Так, из 209 артикулов Артикула воинского 101 предусматривал смертную казнь. Значительно расширилось и количество преступлений, которые Пётр причислил к государственным. «Врагами царя и Отечества» могли оказаться все, кто задумал, а тем более приступил к осуществлению таких злодеяний, как посягательство на жизнь и здоровье государя, измена, бунт, «скоп» (преступное объединение) и заговор, самозванство, произнесение «непристойных слов» (то есть «вредительных», «неистовых», «неприличных», «непотребных» – самый распространённый вид государственных преступлений), рассуждения о происхождении российских монархов, об их земном облике и личной жизни, о происхождении династии... И объяснения типа, мол, не ведал я про такой-то указ, не принимались. В 1713 году Пётр провозгласил: «Сказать во всём государстве дабы неведением никто не отговаривался, что все преступники и повредители интересов государственных. таких без всякие пощады казнить смертью...» [8. С. 4, 6].

И «повредители интересов государственных» стали появляться буквально на каждом шагу, потому что на практике аресту и наказанию подлежали далеко не только те, кто в «непотребных» выражениях высказался о царе и его царстве. Всякий, кто позволил себе рассуждать о членах царской фамилии, распускал о них какие-либо сплетни, слухи, пусть даже самые безвредные, подлежал аресту и жесточайшему наказанию. Достаточно было в чьём-либо присутствии рассказать общеизвестные факты о монарших особах или просто сболтнуть, как видел государя, выходящим из чьего-то дома в подпитии, – а в таком состоянии Пётр бывал не так уж редко, – и можно было без промедления очутиться в застенках Тайной канцелярии.

В юной регулярной столице репрессивный механизм работал наиболее слаженно и чётко. Доносы («изветы») сыпались, как из рога изобилия. Чаще – устные, сопровождавшиеся криком «Слово и дело!» (то есть «Я обвиняю вас в оскорблении государя словом и делом!»), но немало было и письменных. Власть изо всех сил поощряла фискальничание и создала такую систему, при которой доносчиком обязан был становиться каждый. Недоносительство каралось наравне с государственным преступлением, а доносительство, наоборот, оплачивалось – в иных случаях несколькими рублями, но, если дело считалось серьёзным, сумма могла вырасти и до нескольких сотен, что по тем временам, в особенности для бедняка, было целым состоянием. В 1711 году царь создал специальный институт штатных фискалов-доносчиков во главе с обер-фискалом. «Фискалы сидели во всех центральных и местных учреждениях, в том числе и церковных. Им предписывалось “над всеми делами тайно надсматривать и проведывать”, а затем доносить о преступлениях. За верный донос фискал получал награду: половину конфискованного имущества преступника. Ложный донос в укор фискалу не ставился, “ибо невозможно о всём оному окурратно ведать” Больше, что ему грозило в этом случае, – “штраф лехкой”, чтобы впредь, “лучше осмотряся”, доносил» [8. С. 72–73].

В обязательные фискалы попали даже священники. В 1716 м Пётр издал указ: «...всякого чина мужеска и женска пола людям объявить, чтоб они у отцов своих духовных исповедывались повсягодно. А ежели кто в год не исповедуется., на тех людей класть штрафы, против дохода с него втрое, а потом им ту исповедь исполнить же» [4. С. 340]. Государственное значение исповеди объяснялась просто: царь велел отменить её тайну. По указу Синода от 1722 года, «если кто при исповеди объявит духовному отцу своему некое несделанное, но ещё к делу намеренное от него воровство, наипаче же измену, или бунт на государя, или на государство, или злое умышление на честь, или здравие государево, и на фамилию его величества..., то должен духовник... донести вскоре о нём, где надлежит.», а «ежели кто из священников сего не исполнит. тот без всякого милосердия, яко противник и таковым злодеям согласник паче же государственных вредов прикрыватель, по лишении сана и имения, лишён будет и живота» [4. С. 341].

Так свирепый демиург, разрушив одну из основ христианского образа жизни – таинство исповеди, низвёл священников до чиновников и тем самым ещё раз подтвердил, что истинно святым в его петербургской России является исключительно государство. Прихожанин же ощутил себя ещё более незащищённым: отныне он не мог довериться даже Господу.

***Параллельные заметки.** Пётр I превратил Россию в страну доносительства. Сталин возродил эту петровскую систему на новом, более высоком уровне, соответствующем тоталитарному государству XX века. В результате сегодня российский народ в своём подавляющем большинстве презирает всякое доносительство, а самих доносителей обызывает стукачами и люто ненавидит.*

Между тем почти в большинстве западноевропейских стран и в США тотальное информирование властей о малейших нарушениях порядка и законности, наоборот, считается гражданским поступком. Там фискальничание – важнейший элемент образа жизни. Кинул с балкона окурок на тротуар, выгулял собачку в неположенном месте, затеял в квартире шумную ссору с женой – будь спокоен, через минуту на тебя сообщат, а ещё через две подкатит полиция, и с тобой разберутся. За любое нарушение общественного порядка почти наверняка выпишут солидный штраф, и, если ограничатся предупреждением, благодарю и клянись, что больше такое не повторится до конца дней твоих. А уж за нарушение закона – получишь по полной: если тебя не узрела ни одна из великого множества телекамер, развешенных повсюду, кроме туалетных кабинок, – обязательно заметят прохожий, проезжий или старушка, день-деньской торчащая у окна.

Всё дело в том, что мы до сих пор вынужденно видим во власти врага, тогда как в «стукаческих» демократиях в ней видят надёжного помощника, который должен денно и нощно способствовать тому, чтобы закон был по-настоящему действенным, а наказание за его нарушение – неотвратимым.

В указе 1715 года Пётр, недовольный широко распространившимися анонимками, призывал приходиться с извещениями открыто и смело. Но народ всё равно боялся, потому что в петровских застенках, в отличие от сталинских, доносы проверялись самым тщательным образом, и «царицей доказательств» служило признание ответчиков, а заодно доносчиков и свидетелей, полученное в ходе пыток. Пытки были чудовищно тяжелы: те, кто их прошёл, нередко оставались инвалидами, некоторые умирали.

В допросах участвовали не только профессиональные «пыточных дел мастера», но и некоторые крупные петровские сановники, включая иных священнослужителей. Так, Феофан Прокопович, один из иерархов церкви, по утверждению Евгения Анисимова, «был настоящим русским Торквемадой. Инструкции, составленные им для ведения допросов, являются образцом полицейского таланта: “Пришед к <подсудимому>, тотчас нимало

немедля допрашивать. Всем вопрошающим наблюдать в глаза и на всё лицо его, не явится ли на нём какое-либо изменение, и для того поставить его лицом к окошкам... Как измену, на лице его усмотренную, так и все речи его записывать"» [8. С. 175].

Охотно, если не с любовью, участвовал в допросах и сам государь. Он любил наблюдать, как пытают, в том числе сына, царевича Алексея; «случай, кажется, уникальный в мировой истории», – отметил Натан Эйдельман [47. С. 23]. Мало того, Пётр «приглашал своих гостей посмотреть на мучения, которым подвергали приближённых женщин царевен Софьи и Марфы. Царь лично допрашивал этих своих сестёр. Занятия в застенке принесли Петру дурную славу. То, что царь “немилосердно людей бьёт своими руками”, воспринималось в народе как свидетельство его “неподлинности” Слухи о кровожадности Петра родились после 1698 года, когда царь и его приближённые участвовали в пытках и кровавых казнях стрельцов, а потом пировали с безудержным весельем на безобразных попойках. Всё это напоминало времена опричного террора Ивана Грозного» [8. С. 42]. «Пётр вообще был сердит на многих бояр, у которых при исполнении казни тряслись руки. Сам царь бестрепетно обезглавил в Преображенском пятерых стрельцов, а Меншиков хвастался, что казнил двадцать человек» [8. С. 253].

Параллельные заметки. Конечно, в то время и в Европе дознание с применением пыток считалось обычным делом. Лишь в Англии и Швеции их отменили ещё в XVI веке, но только не в процессах ведьм. А, к примеру, в Пруссии пытки запретили в 1754 году, в Австрии – в 1787-м, во Франции – в 1789-м... Но там короли всё же не были всегдашними застенков, не приглашали гостей на пыточные допросы, словно на спектакль, не убивали осуждённых лично и не закатывали пьяных праздников после лютых расправ...

Казни случались часто. Причём, как правило, всегда публичные, для острастки остальных. Обычно наказывали батогами, плетью, вырыванием ноздрей, отрезанием ушей или носа, чтобы потом отправить осуждённого в каторжные работы. И как правило – в Петербург. Там даровая рабочая сила требовалась постоянно и в избытке. Так Пётр впервые в истории России сделал каторгу наиболее массовым видом наказания и поставил её на службу государству.

В стране установился режим страха. Но нигде этот государственный страх не был так силён, как в Петербурге. Мало того, что всякий житель новой столицы, от безвестного обывателя до высшего чиновника, ежечасно боялся, как бы по очередной царёвой блажи у него не отняли имущество, не заставили перебраться на новое место жительства, а то за какое-нибудь неосторожное слово не потянули в пыточную. Вдобавок на окраинах стояли заставы – ни въехать, ни выехать из столицы незамеченным или без надлежащих документов было невозможно. С наступлением ночи запрещалось всякое хождение даже внутри города – наступал, как сказали бы сейчас, комендантский час. Караулы и посты были расставлены часто и хватали всякого нарушителя. Житель регулярного города должен был ночью спать, чтобы набраться сил для работы днём, а днём работать, мечтая о коротком ночном отдыхе.

По сути, новая столица смахивала на зону, но сам Пётр, напомним, любил называть свой город «парадизом» – раем земным.

* * *

Пожалуй, наиболее наглядно смысл реформаторской политики Петра I раскрывается на примере преобразований в экономике.

По мнению современного историка российского предпринимательства Светланы Никитиной, «накопление капитала и создание промышленности Пётр I считал не основным,

а вспомогательным направлением реформ» [36. С. 82]. И то и другое подчинялось главной триаде – расширению границ государства, возведению северной столицы и выстраиванию административно-управленческой вертикали. Поэтому, вопреки расхожему мнению, финансовые и промышленные новации первой четверти XVIII века трудно назвать реформами. Ни налоговая, ни бюджетная системы не были подвергнуты изменениям. Задача была только одна – фискальная, и заключалась она в том, чтобы выкачать из страны максимум денег, сырья и материалов. На развитие армии уходил 41 процент всех бюджетных доходов, а 37,6 процента тратилось на резкое наращивание чиновничьего аппарата [36. С. 85]. Американский историк Ричард Пайпс приводит ещё более впечатляющие данные: военные экспедиции Петра «... постоянно поглощали 80–85 % дохода России, а однажды (в 1705 г.) обошлись в 96 %» [37. С. 170]. Но постоянно была ещё одна бездонная статья расходов: «... из ста рублей, собранных с обывательских дворов... тридцать шли в казну, остальное чиновники разбирали» [20. С. 185], то есть, попросту говоря, разворовывали.

В какие суммы обходился Петербург, неизвестно даже приблизительно. Большая часть расходов не документировалась, многое перестраивалось и «поправлялось» по несколько раз, значительная часть работ выполнялась бесплатно – рабами или просто по царёву указу в качестве повинности. Ясно одно: эту крупнейшую в мире стройку того времени не осилила бы ни одна другая страна, даже если военные расходы были бы урезаны до самых мизерных размеров. Подобный мегапроект мог быть осуществлён только так – внеэкономическими методами.

Развитие свободной промышленности и торговли могло принести много средств, но для этого надо было изменить весь социально-политический уклад государства, на что Пётр пойти никак не мог. Поэтому если экономические преобразования и можно назвать реформами, то лишь со знаком «минус».

На самые прибыльные виды торговли государство установило свою монополию: с 1705 года это было сделано в отношении продажи соли и табака, в 1707-м – дёгтя, рыбьего жира, мела, ворвани, сала, смолы, в 1709-м – щетины, в 1711-м – икры, нефти, льна, моржовой кости, поташа, рыбы, корабельного и пильного леса, досок, юфти.

Свобода рынка и рыночных отношений активно урезалась и другими методами. Насильственно объединяя частные капиталы в крупные «кумпанства», царь жёстко контролировал их деятельность с помощью новых бюрократических институтов. Почти всё, что производилось, в обязательном порядке шло на нужды государства, которое выступало не только основным заказчиком всей продукции, но и предоставляло поставщикам всевозможные льготы в виде беспроцентных ссуд или земель и лесов, передаваемых бесплатно или на крайне выгодных условиях. Вполне понятно, что такими преференциями пользовались исключительно «свои» и те, кто дал хорошую взятку.

Рынок рабочей силы тоже отсутствовал: если до начала 1720-х годов предприниматели ещё использовали труд беглых крестьян, бродяг, сирот, солдатских детей, то в 1721 году вышло разрешение покупать и приписывать к заводам крепостных, которые пополнили ряды зэков-каторжников, а также военнопленных и русских солдат, матросов – бесплатной рабсилы на государственных предприятиях и стройках. В то же время почти вся продукция, повторюсь, поступала для нужд государства, а не в рыночный оборот, и по этой причине товарный рынок тоже оставался в эмбриональном состоянии. Деловые люди, напрямую зависевшие от власти, прекрасно понимали, что всё, в одночасье ими обретенное, так же в одночасье может быть и отобрано, а потому не стремились к созданию рынка капиталов, к развитию производства и приумножению видов бизнеса.

Параллельные заметки. Впрочем, традиция, как мы теперь сказали бы, сращивания бизнеса и власти была заложена ещё во времена Московской Руси, задолго до начала

XVIII века, и Пётр оказался лишь достойным учеником своих предшественников. И не менее достойным наставником для своих последователей, которых и теперь, в XXI веке, предостаточно.

Причина этой многовековой любви авторитарной российской власти к столь пагубной экономической модели объясняется просто: таким образом удаётся убить сразу трёх зайцев – во-первых, держать на коротком поводке бизнес, чтоб даже думать не смел о своей независимости, во-вторых, иметь компромат на чиновников, чтоб те всегда боялись и слушались беспрекословно, а в-третьих, обладать неиссякаемым источником личного обогащения.

При таком огосударствлении экономики мечта Петра построить новую столицу, чтобы торговать с Западом, выглядела утопичной. Кроме даров природы, торговать России, по сути, было нечем. Даже спустя сто лет после смерти первого императора Александр Пушкин с иронией писал о том, как «Лондон щепетильный» свой товар «...по Балтийским волнам / За лес и сало возит к нам». Да и сегодня положение не многим лучше.

В результате при Петре в России начали процветать не только монополизм, массовые хищения, но и ужасающий хозяйственный беспорядок. Вот всего несколько наиболее вопиющих фактов, которые свидетельствуют о том, какую экономику навязали России петровские «реформы». В Ревеле при строительстве порта извели леса Лифляндии и Эстляндии, а потом стройку бросили, так и не окончив. То же самое произошло в Азове и Таганроге; при этом в одном только Таганроге погибли свыше 30 тысяч рабочих. Аналогичным образом возводилась и новая дорога между обеими столицами: всё бросили уже на 120-й версте. Только что построенный Азовский флот был оставлен прямо на верфях: часть кораблей сгнила, часть была отдана туркам. После смерти Петра в армии насчитывалось 16 тысяч орудий, примерно по одному на каждые десять солдат и командиров, включая пехотинцев, кавалеристов и штабных. Даже сугубо гражданский человек поймёт: орудия делались без всякого учёта реальных нужд и понадобились в таком несметном количестве только потому, что кто-то на этом хорошо нагрел руки.

В конце XIX века «крупнейший историк русского флота Феодосий Веселаго... опубликовал итоги своего подсчёта числа кораблей, сооружённых при Петре. Всего – 895, из них построенных в Петербурге — 541. В их числе 52 крупных корабля и 489 малых (галеры, бригантины и проч.)» [9. С. 28]. А вот свидетельство очевидца, путешественника Обри де ла Мотрэ: в 1726 году, уже при Екатерине I, он увидел корабли, сделанные при Петре: все они «были по большей части лишены мачт и в скверном состоянии. <...> у многих из этих кораблей сгнили днища, даже у некоторых, не выходявших ещё в море» [33. С. 233–234]. И это флот, любимое – наряду с Петербургом – детище Петра, которому он уделял столько внимания!

Уже при Анне Иоанновне, в июне 1737 года, в Петербурге был «спущен на воду 100-пушечный линейный корабль “Императрица Анна” – крупнейший за всю историю парусного российского флота. Сама императрица присутствовала на спуске корабля, носящего её имя. Празднование прошло на высоком уровне: палубу устлали персидскими коврами, был сооружён шатёр, натянуты тенты из “индеанской крыши”, расставлены столы для дам и кавалеров; во время обеда “италианские виртуозы” пели кантаты, а расположенные в нижней части корабля трубачи и литаврщики услаждали обедающих музыкой. После праздника самый мощный корабль российского флота проследовал по Неве к Летнему дворцу императрицы, где и встал на вечный прикол. Зачем строили? Для кого строили? Загадка. Ни в какие морские походы он никогда не ходил» [24. С. 97–98].

Какая уж тут загадка... Такова вневременная экономическая матрица государства Российского: помпезность дороже денег, главное – не качество, а количество, любви большие

проекты, ибо они могут восхитить народ, испугать иностранцев и с них можно больше украсть.

* * *

От реформаторства Петра страдало, прежде всего, крестьянство: «тяготы налогообложения возросли втрое, поземельный налог был заменён подушным, <что>... фактически уничтожило частное владение крестьян, стимулировав уравнительное землепользование и окончательно превратив крестьянскую общину в передельную» [43. С. 308]. «О мере страданий народа, – писал Александр Брикнер, – можно судить по следующему письму самого “прибыльщика” Курбатова к Петру в 1709 г.: “От правежей превеликой обходится всенародный вопль, а паче в поселянах, яко не точию последняго скота, но иние беднейшие и домишков своих лишаются. И ежели Вашим призрением ныне вскоре отсрочною помилованы не будут, то в сих последних сего года месяцах премногое примут разорение и, Бог весть, будут ли впредь инии даней Ваших тяглецы... а впредь, по благом окончании войны сея, могут помалу и во всём исправиться”» [11. С. 605].

В результате столь мудрого государственного управления народ, опасаясь наказаний за неуплату налогов, старался скрыться, куда только можно. Одни прятались в лесах, другие – на свободном Дону, третьи – за границей. По свидетельству немецкого офицера на шведской службе, географа и писателя Филиппа фон Штраленберга, за годы петровского правления в Польшу, Литву, Турцию и Татарию бежали до 100 тысяч русских крестьян [11. С. 606]. Уже не раз цитируемый Евгений Анисимов утверждает, что только в Польшу «бежали сотни тысяч людей», из-за чего на границе с этой страной «приходилось размещать целые полки, устанавливая густую цепь застав» [8. С. 119].

Прямое следствие петровской политики – депопуляция России. «В начале XX века были опубликованы исследования П.Н. Милюкова о населении и государственном хозяйстве при Петре Великом. По данным петровских переписей и ревизий, автор пришёл к довольно страшным выводам: податное население к 1710 году уменьшилось на 20 %, то есть на одну пятую. По некоторым же губерниям убыль дворов представлялась катастрофической (Архангелогородская и Санкт-Петербургская – 40 %, Смоленская – 46 %, Московская – 24 %)» [48. С. 62–63].

Итог петровского «реформаторства» сразу после его смерти подвели его ближайшие соратники Меншиков, Остерман и Макаров. 18 ноября 1726 года в коллективной записке Екатерине I они отмечали: «При рассуждении о нынешнем состоянии государства показывается, что едва не все те дела, как духовные, так и светские, в худом порядке находятся и скорейшего поправления требуют. <...> <Не только крестьянство> в крайнее и всеконечное разорение приходит, но и прочие дела, яко коммерция, юстиция и монетные дворы, весьма в разорённом состоянии обретаются» [5. С. 111]. Фактически в середине 1720-х годов Россия оказалась на грани банкротства.

Параллельные заметки. Многие авторы считают, что со времён Ивана Грозного Россия шла по «догоняющему пути развития». Но можно ли в действительности охарактеризовать российскую экономику последних пяти столетий как догоняющую? Страна, в которой государство – всё, а личность – ничто, частная собственность может быть отобрана в любой момент, суд повинуется не законам, а властям и подавляющее большинство жителей поставлено в рабское состояние, – такая страна просто не способна экономически догнать никого, кроме таких же сообществ, как она сама.

И всё-таки Пётр добился значительного экономического рывка. И новые отрасли промышленности появились, и новые «кумпанства». Это неоспоримо. Как, впрочем, и то, что в этом скачке уже было заложено новое отставание страны от развитых держав. «Индустриализация по-петровски», несмотря на невероятные усилия всей нации, способна была обеспечить лишь очередной рывок, но не могла стать базой для дальнейшего развития страны. Точно так же как «индустриализация по-сталински». Такие рывки не создают источников последующего прогресса – свободного рынка труда, капитала и товаров, стимулов личной инициативы.

* * *

Василий Ключевский говорил: «Петра часто изображали слепым беззаветным западником, который любил всё западное не потому, что оно было лучше русского, а потому, что оно было непохоже на русское, который хотел не сблизить, а ассимилировать Россию с Западной Европой» [26. Т. 3. С. 75]. Реальным подтверждением западничества Петра служили его дружеские отношения с сотнями иностранцев, многие ярко выраженные черты европейского образа личной жизни, преклонение перед всеми теми зарубежными вещами, порядками и обычаями, которые царь усиленно пересаживал на русскую почву. Да что там – сам Петербург наглядно свидетельствовал о западнических пристрастиях государя, мечтавшего, чтобы его новая столица была одновременно похожей и на Амстердам, и на Венецию, и на Париж (Петергофу надлежало затмить своим великолепием Версаль)...

Но можно ли Петра и вправду назвать западником?

Пётр I много раз бывал в европейских государствах: дважды – в 1697–1698 и в 1716–1717 годах, а также в 1701, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1711, 1712 годах [3. С. 25]. Однако вся деятельность царя, в том числе и проводимые им преобразования, свидетельствуют: он хотел, переодев Россию в европейское платье, лишь наложить на её лицо «европский» макияж. При этом основу российской государственной традиции он не собирался не только менять, но даже трогать. Поэтому заимствовались – точнее, копировались – лишь внешние признаки европеизма и полностью были проигнорированы его основные принципы: верховенство закона, неприятие рабства, уважение к человеческой личности и незыблемость частной собственности.

Однажды побывав на заседании английского парламента, Пётр сразу решил, что России это ни к чему. Больше того, он уничтожил в России даже те скромные элементы народного управления, которые имелись до него. Отказавшись от английского парламентаризма, который ограничивал королевскую власть, Пётр отвернулся и от британской экономической модели, несмотря на то, что «связь событий 1688–1689 годов – стабилизация политического режима, ускорение демократии налогоплательщиков, упорядочение прав собственности, гарантии прав личности – с экономическим ростом, подъёмом финансового и военного могущества Англии была для западноевропейских современников очевидным фактом» [14. С. 250].

Да и та Европа, которую Пётр старался перевести на русскую почву, требовалась ему лишь временно. Он совершенно не собирался интегрировать Россию в европейское цивилизационное пространство. «Нам нужна Европа на несколько десятков лет, а потом мы к ней можем повернуться задом», – это откровение Петра было хорошо известно его сподвижникам и по сей день часто цитируется историками. Реже упоминается, зачем России предстояло отворачиваться от Запада. Надо понимать, для того, чтобы, перенеся всё необходимое для укрепления власти, сохранить суть российского политического устройства. И уж совсем редко говорится, к чему это привело: внешне Россия и вправду кое в чём стала напоминать

Европу, но внутренне она по-прежнему была отсечена от европейской цивилизации. Потому что петровское «западничество» было не целью, а всего лишь средством.

Вновь процитирую Василия Ключевского, который кратко и точно объяснил саму методику петровской модернизации: «Таково было общее отношение Петра к государственному и общественному порядку старой Руси... не трогая в нём старых основ и не внося новых, он либо довершал начавшийся в нём процесс, либо переиначивал сложившееся в нём сочетание составных частей, то разделяя слитые элементы, то соединяя отдельные; тем и другим приёмом создавалось новое положение с целью вызвать усиленную работу общественных сил и правительственных учреждений в пользу государства» [26. Т. 3. С. 74]. По сути, Россия Петра I была так же далека от Европы, как и он сам – от европейца.

Параллельные заметки. Пренебрежение основами европеизма, допущенное Петром во время первой поездки за границу вместе с «Великим посольством», можно было бы извинить его молодостью и неопытностью. Однако он точно так же повёл себя и почти двадцать лет спустя, будучи уже зрелым государственным деятелем.

Обдумывая введение в своём царстве коллегий-министерств, Пётр отправил в Швецию, с которой Россия ещё находилась в состоянии войны, тайного посланника – некоего Генриха Фика, голицинца, находившегося на русской службе. В декабре 1716 года генерал Адам Вейде докладывал царю о возвращении разведчика:

Фик «возвратился из Стокгольма счастливо, но с собою всё, что коллегиям надобно, всякие порядки вывез; то и иные многие годнейшие вещи о zelo полезных порядках с собою же присовокупил. Точию то учинено, сказывает, с великим страхом и не знал, как лучше сделать: брал того ради свою жену с собою и те письма вишивал ей под юбки, а иные роздал для сохранения шкиперам» [17. С. 137]. Привезённые бумаги содержали нужные царю документы, объясняющие устройство коллегий, а кроме того, чего царь совершенно не просил, но без чего, как был убеждён Фик, не сможет обойтись его новая Отчизна, – инструкции, уставы, указы, в которых раскрывался «механизм функционирования конституционных институтов». Однако к документам, привезённым, так сказать, сверх плана, Пётр не проявил ни малейшего интереса.

Осознание пагубности петровских реформ для России возникло ещё при жизни северного демиурга и углублялось в последующие эпохи.

Об ограничении самодержавия и введении конституционных основ мечтал, например, один из умнейших людей своего времени князь Дмитрий Голицын, входивший в ближайшее окружение Петра, – тот самый Голицын, который в 1730 году фактически стоял во главе «верховников», потребовавших, чтобы Анна Иоанновна, если она хочет царствовать, подписала «кондиции», значительно урезающие власть монарха. Разглядел принципиальную ошибочность преобразований первого императора и Александр Радищев, с горечью говоривший, что «мог бы Пётр славнее быть, возносясь сам и вознося отечество своё, утверждая вольность частную...» [40. С. 14]. Внимательно изучали опыт неуёмного реформатора некоторые декабристы. Так, Михаил Лунин, уже находясь в Сибири, писал, что допетровское «собрание представителей, под наименованием Земской Думы, или Государственного Собора, <могло бы> обратиться в парламент, если б их собрания были периодические в установленные единожды сроки, круг действий определён и внутреннее устройство их основано на благоразумных началах, необходимых для законодательного собрания» [31. С. 77]. Другой декабрист, Михаил Фонвизин, в сибирской ссылке писал: «Если Пётр старался вводить в Россию европейскую цивилизацию, то его прельщала более её внешняя сторона. Дух же этой цивилизации – дух законной свободы и гражданственности – был ему, деспоту, чужд и даже противен» [44. Т. 2. С. 114]. Наконец, убийственно точную оценку петровским ново-

введениям дал Василий Ключевский: «Пётр действовал силой власти, а не духа и рассчитывал не на нравственные побуждения людей, а на их инстинкты. Правя государством из походной кибитки и с почтовой станции, он думал только о делах, а не о людях...» [26. Т. 3. С. 81–82]. И далее: Пётр «хотел, чтобы раб, оставаясь рабом, действовал созидательно и свободно. Совместное действие деспотизма и свободы, просвещения и рабства – это политическая квадратура круга, загадка, разрешавшаяся у нас со времени Петра два века и доселе не разрешённая» [26. Т. 3. С. 84].

Первой попыталась восполнить просчёты Петра в европеизации российского государства Екатерина II. Она предприняла лишь робкое усилие позаимствовать на Западе отдельные элементы политической системы, из которых могло бы развиваться гражданское общество. Но ей пришлось быстро отступить. «Шанс альтернативного развития России, не реализованный в петровское время, к моменту воцарения Екатерины был уже упущен», – констатирует современный историк Александр Каменский [25. С. 319].

Гораздо дальше в том же направлении удалось продвинуться при Александре II, Михаиле Горбачёве и Борисе Ельцине, однако и сегодня петровские принципы мудрого монарха, который лучше подданных знает, что им надо, и фетишизация государства, в чью орбиту вовлечены все, включая православную церковь, остаётся незыблемым в нашем национальном сознании. И при этом нас до сих пор не оставляет мечта о европейском образе жизни.

Известный мемуарист XIX века Филипп Вигель с горечью воскликнул: «...мы надорвались, гоняясь за Европой!» [13. Т. 1. С. 278]. Больше полутора столетий прошло, а сказано будто вчера.

* * *

Фактически при Петре I впервые не только в России, но и во всей новой мировой истории на основе европейских философских схем возник прообраз тоталитарного сообщества, где человек призван был стать бездушным винтиком единого механизма. Именно в этой сфере петровские реформы проявились наиболее быстро и эффективно: родилась новая цивилизация, в которой прежние понятия морали и нравственности заменялись понятием государственной пользы, вера в Бога – верой в верховного правителя, «отца нации», и главным становились не личность, не семья и даже не община, а исключительно новый режим.

В системе петровского государства не было места даже зародышу представительского правления, Земским соборам, и первого своего парламента – Государственной думы – стране пришлось ждать два столетия. Подменив законодательство царскими указами, которые сыпались на головы подданных как из рога изобилия, Пётр таким образом открыто встал на путь строительства неправового государства. Важнейшим атрибутом новой государственной модели явилась мощнейшая машина политического террора.

***Параллельные заметки.** В 1718 году, когда был арестован заподозренный в участии в заговоре царевича Алексея Александр Кикин, в застенок, где его пытали, явился Пётр. «Как ты, умный человек, мог пойти против меня?» – удивлённо спросил царь. «Какой я умный? – ответил Кикин. – Ум любит простор, а у тебя уму тесно».*

Да, это не исторический факт, а всего лишь легенда, но легенды не рождаются на пустом месте.

Петровский режим примитивизировал сословную структуру всего российского общества, уложив его в прокрустово ложе Табели о рангах и тем самым лишив перспектив развития. На строгий учёт были взяты все, даже те, кто не служил. «...Каждый человек обязательно должен был находиться в одной из трёх систем учёта и зависимости: либо в личной

(быть за помещиком), либо в податной (внесён в налоговый кадастр), либо в служилой (в армии, конторе). Соответственно резко усилились формы и методы борьбы с нарушениями введённой режимности. Имеются в виду две стороны процесса. С одной стороны, социальная стратификация стала фактически невозможной, ибо была оговорена массой условий. С другой стороны, если до Петра поиски беглого крестьянина были делом помещика, то теперь это стало делом государства, причём одним из важнейших» [7. С. 9].

В дополнение к религиозному расколу добавился социальный, фактически разделивший единый народ на два: чернь, оставшуюся в прежнем, средневековом времени, и белую кость, которая стала одеваться по-европейски, жить в европейских жилищах, говорить по-французски и даже в церкви молиться отдельно.

Появился новый класс – бюрократия, действующая исключительно в собственных интересах. Была запущена система всеобщего контроля личности и страха перед всепроникающей властью.

Присвоение Петру в 1724 году титула императора официально закрепило за Россией имперский статус. В частности, это означало, что, если в допетровскую эпоху «завоёванные народы рассматривались как отдельные “царства” при едином государе, то с появлением же концепции империи такой взгляд противостоял идее “единой и неделимой России” и “царства” были низвержены до статуса провинций» [25. С. 211].

Во всех слоях российского общества зародились равнодушие к общему благу и плодам своего труда, социальное иждивенчество и этатизм. В массовом сознании утвердились культы военной силы и милитаризации гражданской жизни. Огосударствление человека сформировало новый стереотип взаимоотношений государства и личности – авторитарный по своему характеру... Государство, провозгласившее себя всемогущим, стало самодостаточным: и народ, и таланты с их творческой инициативой ему стали нужны только для собственного развития и прославления. Но одновременно возникла и ответная реакция: народ слишком явно почувствовал себя отделённым от такого государства – у всей нации, за исключением оболваненных идеологией, появились недоверие, отчуждённость и, наконец, враждебность ко всему государственному. Вновь процитирую Василия Ключевского: «... вместо порядка существовала только привычка повиноваться до первого бунта.» [26. Т. 3. С. 87].

«Европеизация от Петра» была по сути своей антиевропейской: и народ, и человеческую личность она поставила как вне государственного, так и вне Божьего закона.

***Параллельные заметки.** Хорошо известно, что Сталин с особым пиететом относился к Иоанну IV (Грозному) и Петру I. Про каждого из них он даже приказал снять двухсерийные киноэпопеи и лично контролировал работу над этими картинами.*

Характерно, что и Пётр аналогичные чувства испытывал к Иоанну. В 1721 году на триумфальной арке, воздвигнутой в Петербурге по случаю победного окончания Северной войны, с правой стороны был изображён Грозный с девизом «Inserit» (Начал), а с левой – Пётр с девизом «Perfecit» (Усовершенствовал). Указывая на изображение Грозного, Пётр говорил Карлу-Фридриху, герцогу Голштинскому, своему будущему зятю: «Этот государь... мой предшественник и пример. Я всегда принимал его за образец в благоразумии и в храбрости, но не мог ещё с ним сравняться. Только глупцы, которые не знают обстоятельств его времени, свойства его народа и великих его заслуг, называют его тираном» [45. С. 356].

Все трое – царь, император и «великий вождь» – стояли друг друга: при каждом из них Россия пережила страшную деспотию, сравнимую с геноцидом. По сути, эти три эпохи, словно три кровавые вехи, вставшие в один ряд с монгольским игом, определили общий вектор нашей трагической истории.

Однако и тут есть немало специалистов по «объективным» подсчётам. На одну чашу весов они бросают загубленные души, а на другую – отвоёванные у соседних стран земли, возведённые новые города, заводы и плотины, впервые основанные отрасли экономики... Да, говорят они, жестокости были, но ведь и как много полезного создано! А поскольку всё это дела прошлые (в случае с Грозным или Петром и вовсе стародавние), то есть погибших в лицо никто не видал и потому жалость к ним весьма абстрактна, – вторая чаша однозначно перевешивает первую. Под эти «взвешивания» даже подводится универсальная теоретическая формула: исторический прогресс требует жертв.

Иные ««торговцы» такой историей идут ещё дальше, утверждая, будто дело вовсе не в личностях правителей, а в том, что время было такое – жестокое, бескомпромиссное, когда на историческом переломе главной ценностью оказывались жизнь и смерть не отдельных людей, а всей нации. Иосиф Сталин, выдающийся дизайнер по рекламе собственного режима, свёл подобные рассуждения к ёмкому слогану: ««Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. И мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут» [1. С. 300]. Ну, а при таком раскладе, само собой, не до сантиментов, тут уж «лес рубят – щепки летят».

Сторонники такой философии ставят в этом месте победную точку, не утруждая себя простым вопросом: а почему Россия, у которой всегда имелось всё, чтобы быть одной из самых процветающих стран, регулярно оказывается в положении отстающей? Этот едва ли не самый главный вопрос отечественной истории игнорируется неспроста. Ведь ответ очевиден: смысл всей деятельности главы государства, будь то царь, генсек или президент, заключается не в развитии и укреплении державности, а в заботе о благоденствии граждан, поэтому режимы Иоанна Грозного, Петра Великого и Ленина-Сталина, развивавших систему массовых убийств, всеобщего страха, растления души, преступны по своей сути, и народ, лишённый свободы, просто обречён на прозябание и отсталость.

Повторюсь: государственный строй, сотворённый Петром I, был лишь прообразом тоталитарного режима. Это была готовая оболочка, но ещё без идеологического содержания. Однако закон исторической драматургии непреложен: если есть сосуд, раньше или позже обязательно найдутся те, кто захочет его наполнить. Осенью 1917 года, как мы знаем, так оно и случилось. Трудно сказать, в какой мере понимали это сами большевистские вожди, однако в действительности их прямыми предшественниками были не столько чернышевские-писаревы, народники и народовольцы, сколько Пётр I. Неслучайно Максимилиан Волошин назвал Петра «первым большевиком», а Николай Бердяев – «большевиком на троне» [38. С. 636, 637].

Пётр, не ограничиваясь общими принципами нового устройства России, многие вещи умудрялся продумать до таких мелочей, которые в XX веке прославили будущие тоталитарные режимы. К примеру, большевикам понадобилось четверть века, чтобы понять: вместо того чтобы запретить церковь, куда выгоднее превратить её в один из приводных ремней государственной машины. А Пётр сделал это гораздо быстрее. Уже в 1700 году он лишил церковь патриарха и в 1722-м учредил Святейший синод в качестве очередной коллегии.

Старообрядцам северный демиург приказал носить на одежде лоскут красного сукна с жёлтой нашивкой – особую мету, чтобы всякий мог их узнать сразу, ещё издали. Меты эти, которые даже по цвету копируют, не ведая о том, нацисты для евреев, прозвали козырями. В собрание Владимира Даля даже попала характерная поговорка: «Лоскут на ворот, а кнут на спину» [23. С. 26]. Рекрутам, дабы беглых среди них легче было сыскать, стали «...на левой руке накалывать иглою кресты и натирать порошком» [4. С. 105] – ну чем не номер в гитлеровских лагерях смерти?..

Все эти и множество других невиданных прежде преобразований начинались в Петербурге. Здесь, по обоим берегам Невы, на всероссийской ударной стройке петровского ГУЛАГа, впервые в столь массовом масштабе утвердились главные приметы грядущих советских городов – общежития и коммуналки. Жили – точнее, ночевали – в страшной скудности, где всё было «общим», от полчищ насекомых до выbledков.

Двадцать два года, денно и ночью, выстраивал Пётр на невых берегах свой парадиз тоталитаризма. Наперекор природе Невского края, наперекор природе человека. Говорят, первый российский император любил, когда на придворных праздниках его приближённые распевали: «Бог идеже хощет, побеждается естества чин», то есть по воле Бога побеждаются законы природы. Любил – потому что здесь, на строительстве Петербурга, в роли Всевышнего одолевал «естества чин» он сам, самодержец всея Руси и природы. Причём это касалось не только людей, которых Пётр пересаживал на землю, мало приспособленную для большого города, но и растений, вроде хлопчатника или винограда, высаживаемых по его приказу в открытый петербургский грунт и в большинстве своём быстро вымерзавших. Песнопения петровского окружения в переводе на современный язык звучат до боли знакомо: «Нам нет преград на суше и на море!..», «Течёт вода Кубань-реки, куда велят большевики!», «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у неё – наша задача!».

Вполне закономерно, что спустя сто лет именно в Петербурге появилась у Александра I идея страшных военных поселений, так творчески претворённая в жизнь Аракчеевым. И что в том же Петербурге Николай I провозгласил идею национальной народности, в соответствии с которой каждый подданный должен возлюбить «родное государство» более самого себя. А после 1917 года на город обрушился «красный террор», и спустя некоторое время его захлестнули волны сталинских чисток. Тысячу раз прав был верный приверженец Петрова дела архиепископ Феофан Прокопович, сказав на похоронах возлюбленного монарха: «Какову он Россию свою зделал, такова и будет... Убо оставляя нас разрушением тела своего, дух свой оставил нам» [39. С. 17].

Параллельные заметки. Пётр I, несомненно, был первопроходцем государственного тоталитаризма в новой истории западной цивилизации. Однако эти страшные идеи, видимо, уже носились в воздухе. На исходе того же столетия они материализовались во Франции. Разница была лишь в том, что петровская революция осуществлялась «сверху», а Великая французская – «снизу». Но результат оказался одинаковым: примерно за тот же срок – четверть века, с 1789-го по 1814 год, – население Франции из-за войн и якобинского террора уменьшилось почти на четверть.

* * *

Михаил Ломоносов говорил, что Пётр I – человек, Богу подобный, а Гавриил Державин в стихах своих вопрошал: «Не Бог ли в нём сходил с небес?» [26. Т. 3. С. 62]. Таким же видело первого российского императора большинство его преемников на царском троне. Правда, некоторые историки полагают, что для Елизаветы и Екатерины II, которые не уставали провозглашать себя продолжательницами дела Петра, обожествление его образа прежде всего служило надёжной опорой легитимности собственной власти. Но Николаю I такая подпорка явно не требовалась; тем не менее он категорически запретил какие бы то ни было отрицательные высказывания о первом императоре, и объявил его имя святым для всех подданных. Хорошо известно высказывание Николая о трагедии Михаила Погодина «Пётр I»: «Лицо императора Петра Великого должно быть для каждого русского предметом благоговения и любви.».

Отношение к первому императору обрело «откровенно выраженный религиозный характер» ещё при его жизни [12. С. 77]. Сакрализация государевой персоны, миф о царе-небожителе, складывавшийся при активном участии самого Петра, на самом деле был крайне выгоден всем российским правителям.

Великий реформатор и законодатель, знаток всего и вся, неутомимый труженик и мастер на все руки, заботливейший и справедливейший государь, натура глубоко народная, олицетворяющая лучшие качества русской нации, – все эти и подобные им определения лишь дымовая завеса мифа. Суть же укладывается в простую и короткую формулу: Пётр доказал – этой страной можно править только сильными, суровыми мерами, оправдывая их высшими интересами государства.

Мифологическое представление о Петре, почти не изменившись, благополучно дожило до наших дней, во многом благодаря не только царским, советским и даже постсоветским правителям, но также многим политикам, историкам, политологам и культурологам. Русский богатырь, спаситель России (в том числе от иностранного порабощения) и русской веры, просветитель и учитель, плотник на троне, великий человек и правитель – это представление давно уже укрепилось в нашем массовом сознании и стало общим местом. Потому что массовому сознанию такой Пётр тоже нужен: как ещё объяснить жестокость (сам царь любил говорить: «жесточь») отечественной власти, её фетишизацию государства и маниакальное стремление к огосударствлению всех аспектов жизни страны и каждого подданного?

Впрочем, ещё при жизни Петра находились и такие, кто был убеждён, что вся его деятельность направлена против России и, вообще, царь не настоящий – не то подменённый, а не то и вовсе Антихрист. Да и позже, после смерти первого императора, когда миф о нём превратился в нечто вроде жития святого, было немало критично мыслящих людей, которые оценивали Петра и его деятельность вразрез с официальной точкой зрения. Так, Николай Карамзин назвал его царём, который «не хотел вникнуть в истину, что дух народный составляет нравственное могущество государств...» [2. С. 641–642]; Александр Герцен – «деспотом, а не монархом» [15. С. XIV]; Фёдор Достоевский – «развратником и нигилистиной» [2. С. 673]; Лев Толстой – «пьяным сифилитиком со своими шутами.» [2. С. 673]. А философ Владимир Соловьёв, много писавший о положительной роли Петра в российской истории, признался: «Я даже затрудняюсь назвать его великим человеком – не потому, чтобы он не был достаточно велик, а потому, что он был недостаточно человеком» [42. Т. 1. С. 429].

Два отечественных гения пытались разобраться, что же в действительности представляла собой фигура Петра, но тщетно.

В 1831 году Пушкин добился получения карамзинской должности придворного историографа и стал собирать материалы о первом императоре. Однако в скором времени понял, что попал в ловушку. Поначалу он прилежно работал в архиве, потом – дома. В 1834-м подал прошение об отставке, затем забрал его назад... Выписок накапливалось много, а вот рукопись даже после пяти с половиной лет работы так и оставалась неначатой. Почему, догадаться нетрудно: легенда о великом реформаторе не имела ничего общего с действительностью. Писать правду было нельзя, а писать восторженные небылицы – невозможно. «В тридцать шестом году он уже знал, что его правда не нужна и опасна правительству. Но ему не приходило в голову спасти свой труд хотя толикой лжи» – так оценивает ситуацию, в которой оказался Пушкин, Яков Гордин. И добавляет: даже несмотря на то, что «только материальный успех “Истории Петра” мог спасти <придворного историографа> из долговой бездны» [19. С. 306]. Натан Эйдельман рассказывает, что было дальше: «После гибели Пушкина тетрадь его архивных выписок была представлена в цензуру, и царь нашёл, что “рукопись издана быть не может по причине многих неприличных выражений на счёт Петра Великого”. Тетради были опубликованы и исследованы 100 лет спустя» [46. С. 62].

В декабре 1872 года Лев Толстой признавался в письме Николаю Страхову: «Обложился книгами о Петре I и его времени; читаю, отмечаю, порываюсь писать и не могу. Но что за эпоха для художника. На что ни взглянешь, всё задача, всё загадка, разгадка которой возможна только поэзией. Весь узел русской жизни сидит тут» [18. С. 273]. Лев Николаевич несколько раз брался за роман о петровской эпохе и Петре и всякий раз отступал – так и не смог разгадать загадку первого российского императора...

Пётр I, вне всякого сомнения, – самая яркая, самая деятельная и самая противоречивая личность из всех правителей России на протяжении её более чем тысячелетней истории. А миф о Петре, старательно поддерживаемый властью, вдобавок во сто крат огромнее его самого. Очевидно, именно поэтому многие исследователи останавливались ещё на подступах к этой великанской фигуре. «Указывать на ошибки его нельзя, – писал Николай Полевой, – ибо мы не знаем: не кажется ли нам ошибкою то, что необходимо в будущем, для нас ещё не наставшем, но что он уже предвидел» [19. С. 169]. Известному литератору XIX века вторят наши глубоко уважаемые современники. Академик Дмитрий Лихачёв: «Обвинять в чём-либо Петра нельзя. Его следует понимать, как следует понимать его эпоху и нужды, перед которыми очутилась Россия на грани столетий» [30. С. 386]. Даниил Гранин, автор книги «Вечера с Петром Великим»: «„судить о Петре по законам *того времени*... это для нас нынешних – самое главное» [21. С. 218].

Конечно, рассматривая тот или иной исторический персонаж, нельзя не учитывать эпоху, в которой он жил. Однако и оценивать его, исходя только из «законов того времени», тоже несомненная ошибка. Тем более, такие личности, как Пётр, во многом сами формировали эти законы. «„Мы не можем не оценивать исторические события с позиции морально-этических норм нашего времени, – уверен современный историк Александр Каменский. – И делается это вовсе не для того, чтобы кого-то осудить или обвинить, а для того, чтобы знать, кто есть кто и что есть что в нашей истории» [25. С. 156]. Ещё дальше пошёл в развитии этого тезиса Юрий Давыдов: «История может быть не только памятной. Она должна быть и злопамятной» [22. С. 4]. И опять-таки: не ради самой злопамятности, а ради того, чтобы история, вопреки известному афоризму, всё-таки хоть чему-то могла нас научить.

Представлять Петра как великого реформатора, создателя новой России, не помяная о тех пагубных ошибках и преступных деяниях, которые он совершил при строительстве своего милитаризованного, чиновно-полицейского государства, – значит, не только разделять историческую допустимость этих ошибок и деяний, но и считать вполне нормальным их повторение в будущем.

Параллельные заметки. В истории нередко встречаются любопытные параллели. Вот одна из них.

Первое большое здание, построенное в Петербурге Петром I, – Петропавловская крепость, ставшая ещё при его жизни политической тюрьмой и кладбищем. А первое крупное здание, построенное в Петрограде большевиками, – крематорий рядом со Смоленским кладбищем (победителем в конкурсе был признан архитектор И.А. Фомин, автор проекта под девизом «Неизбежный путь»). В годы Гражданской войны «Анциферов писал о destruction Петербурга», отмечая, что ««Петрополь превращается в некрополь» [10. С. 176–177].

* * *

В течение восемнадцати лет, с 1698 по 1716 год, Пётр и Лейбниц встречались пять раз. Одна из таких встреч состоялась в 1711 году в Торгау. Вот наиболее важные моменты той беседы:

«Лейбниц хвалит Петра Великого за твёрдость его духа и высокую предприимчивость. Пётр Великий сожалеет, что происшествия не столь быстро идут, как его мысль, и что Россия не пришла ещё в то положение, не заняла того места в системе Европейской, какое он в понятиях своих ей предназначил.

Лейбниц утешает его, доказывая ему, что крутые превращения не прочны. Пётр на сие отвечает, что для народа, столь твёрдого и непреклонного, как российский, одни крутые перемены действительны.

Лейбниц доказывает, что, не положив основания перемен во нравах народных, образование его не может быть прочно. Пётр отвечает, что нравы образуются привычками, а привычки происходят от обстоятельств. Следовательно, придут обстоятельства, нравы со временем сами собою утвердятся.

Лейбниц продолжает, что дотоле все перемены его во внутреннем положении России основаны были на личной предержавной (зачёркн. – самовласти) его силе; что он ничего не сделал для внутренней свободы.

...Лейбниц продолжает, что... некуда торопиться... Оставьте созреть постепенно вашему народу. Что вы хотите? Чтоб ваш народ был столько же счастлив, как другие? Но измерили ли вы их счастье? сравнили ли количество их наслаждений с их страстями и нуждами?... Если б вы вместо превращений дали народу своему пример умеренности, воспитали доброго наследника. сделали бы такое учреждение, чтоб образ воспитания по смерти вашей продолжался, вы бы сделали более добра вашему народу.

...Пётр Великий. Ты меня приводишь в молчание, но не убеждаешь. В знак дружбы прошу никому сего разговора не пересказывать» [41. Т. 3. С. 711–712].

Эта цитата – из рукописи, хранящейся в Российской национальной библиотеке в фонде М. Сперанского [Ф. 731. № 838]. Запись разговора царя и мыслителя лишней раз подтверждает старую истину: для практической политики, которая осуществляется в маниакальной спешке, философские теории – опасный поводырь. Лейбниц это понял. В работе «Новые опыты» он писал: «Ничего не происходит одним махом, и одним из моих наиболее проверенных принципов является убеждение, что *природа никогда не делает скачков...*» [29. С. 281]. Но упрямый Пётр, не находя аргументов для возражений своему собеседнику, всё же, как видим, остался при своём. Новые советы, противоречащие предыдущим, были ему откровенно чужды.

Спустя год после той встречи в Торгау Пётр назначил Лейбница своим тайным советником, однако до конца своих дней он так ничего и не предпринял для утверждения в России начал политической свободы.

...В разговоре с Лейбницем неприглядную оценку русского народа Пётр выразил отнюдь не сгоряча, не в пылу жаркого спора. Царь был твёрдо убеждён, что в этой стране только насильственные меры способны принести успех. Вот, к примеру, что говорил Пётр, по свидетельству Андрея Нартова, одного из самых близких к императору людей: «Говорят чужестранцы, что я повелеваю рабами, как невольниками. Я повелеваю подданными, повинующимися моим указам. Сии указы содержат в себе добро, а не вред государству. Англинская вольность здесь не у места, как к стене горох. Надлежит знать народ, как оным управлять» [34. С. 309]. А вот высказывание Петра, которое цитирует историк Николай Костомаров: «С другими европейскими народами можно достигать цели человеколюбивыми способами, а с русскими не так: если б я не употребил строгости, то бы уже давно не владел русским государством и никогда не сделал бы его таковым, каково оно теперь. Я имею дело не с людьми, а с животными, которых хочу переделать в людей» [27. Т. 2. С. 278].

Все тираны одинаковы: сами они обладают только положительными качествами, причём в превосходных степенях, – гениально мудры, деятельны и прозорливы, беда только, что народец им достался плохой, никудышный.

Параллельные заметки. Пётр Великий до сих пор остаётся в России во всех отношениях великим. Его изваяния и портреты повсюду, не только в Петербурге и Москве, но даже в тех местах, где первый император никогда не бывал. А вот портретов и монументов, изображающих Александра II, почти нигде нет, хотя именно Александр II был истинным реформатором. Он отменил крепостное право, дал народу экономические и гражданские свободы, оставил после себя не страну-банкрота, а страну, бурно развивающуюся, и погиб за реальную модернизацию государства буквально в тот день, когда собирался подписать документ, являвшийся предтечей будущей конституции.

Думаю, корень этой исторической несправедливости в отношении Александра II тоже исторический. Александр III по воспитанию и натуре своей не был последователем своего отца. Николай II, предпринимая шаги, способствовавшие демократизации России, делал это вовсе не из убеждений, а по жёсткому требованию обстоятельств. Ну, а уж всем советским вождям, от Ленина до Черненко, сами принципы Великих реформ, проникнутые духом гражданских и экономических свобод, были глубоко чужды и непонятны. Да и русская интеллигенция конца XIX и всего XX века не очень-то жаловала царя-освободителя. Во-первых, потому, что для неё всякая государственная власть плоха. Во-вторых, потому, что, по её мнению, Александр действовал слишком медленно и непоследовательно (со стороны, тем более если ты не обременён ответственностью главы государства и не испытываешь постоянного сопротивления недовольных твоей политикой, рассуждать о том, как надо, всегда легко).

Между тем признание истинного величия Александра II касается не столько российского прошлого, сколько российского будущего. До тех пор пока Россия не найдёт верный ответ на главный вопрос своей истории – кто же из двух императоров по-настоящему великий, – она принуждена будет ходить по кругу, начертанному Петром I.

Литература

1. История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс. М., 1945.
2. Пётр Великий: pro et contra. СПб., 2001.
3. Агеева О.Г. «Величайший и славнейший более всех градусов на свете» – град святого Петра (Петербург в русском общественном сознании начала XVIII века). СПб., 1999.
4. Анисимов Е. Время петровских реформ. Л., 1989.
5. Анисимов Е. Куда ж нам плыть? Россия после Петра Великого. М., 2010.
6. Анисимов Е. Пётр Первый: рождение империи // История Отечества: люди, идеи, решения (Очерки истории России IX – начала XX в.). М., 1991.
7. Анисимов Е. Путь к свободе в России XVIII века // Империя и либералы (Материалы международной конференции): Сборник эссе. СПб., 2001.
8. Анисимов Е. Русский застеноч. Тайны Тайной канцелярии. М., 2010.
9. Богуславский Г.А. 100 очерков о Петербурге. Северная столица глазами москвича. М., 2011.
10. Бойм С. Петербург умер. Да здравствует Петербург! (Руины революции у Шкловского и Мандельштама) // Санкт-Петербург: окно в Россию. Город, модернизация, современность: Материалы международной научной конференции. Париж, 6–8 марта 1997. СПб., 1997.
11. Брикнер А.Г. История Петра Великого. М., 1991. (Репринт изд. 1882 г.)

12. Вендина О.И. Москва и Петербург. История об истории соперничества российских столиц // Москва-Петербург. Российские столицы в исторической перспективе. М.; СПб., 2003.
13. Вигель Ф.Ф. Записки: В 2 кн. М., 2003.
14. Гайдар Е.Т. Долгое время. Россия в мире: очерки экономической истории. М., 2005.
15. Герцен А. Предисловие к Запискам княгини Е.Р. Дашковой. М., 1990. (Репринт изд. 1859 г.)
16. Гордин Я. В сторону Стикса: Большой некролог. М., 2005
17. Гордин Я. Меж рабством и свободой. СПб., 1994.
18. Гордин Я. Ничего не утаю, или Мир погибнет, если я остановлюсь. СПб., 2008.
19. Гордин Я. Право на поединок. Судьба русского дворянина. 1825–1837. СПб., 2008.
20. Гранин Д. Вечера с Петром Великим. СПб., 2000.
21. Гранин Д. Интелегенды: статьи, выступления, эссе. СПб., 2007.
22. Давыдов Ю. Герман Лопатин. Его друзья и враги. М., 1984.
23. Даль В.И. Пословицы русского народа. М., 1997.
24. Длуголенский Я.Н. Век Анны и Елизаветы. Панорама столичной жизни. СПб., 2009.
25. Каменский А. «Под сению Екатерины...». Вторая половина XVIII века. СПб., 1992.
26. Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций. В 3 т. Т. 3. Ростов н/Д, 2000.
27. Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей: В 2 т. М., 1995.
28. Кюстин А. де. Николаевская Россия. М., 1990.
29. Лейбниц Г.В. Новые опыты // Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней: В 4 т. Т. 3. СПб., 1996–1997.
30. Лихачёв Д. Заметки и наблюдения. Из записных книжек разных лет. Л., 1989.
31. Лунин М.С. Разбор донесения Тайной следственной комиссии государю императору в 1826 году (примечания) // Лунин М. С. Письма из Сибири. М., 1987.
32. Мироненко С.В. Из выступления в общей дискуссии // Империя и либералы (Материалы международной конференции): Сборник эссе. СПб., 2001.
33. Мотрэ О. дела. Из «Путешествия.» // Беспятых Ю. Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях. Л., 1991.
34. Нартов А. К. Достопамятные повествования и речи Петра Великого // Пётр Великий: Воспоминания. Дневниковые записи. Анекдоты. М., 1993.
35. Никитенко А.В. Записки и дневник: В 3 т. М., 2005.
36. Никитина С.К. История российского предпринимательства. М., 2001.
37. Пайнс Р. Россия при старом режиме. М., 2004.
38. Поляков Л.В. Россия и Пётр // Пётр Великий: pro et contra. СПб., 2001.
39. Прокопович Ф. Слово на погребение всепресветлейшаго державнейшаго Петра Великого // Пётр Великий: pro et contra. СПб., 2001.
40. Радищев А.Н. Избранные сочинения. М.-Л., 1949.
41. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней: В 4 т. СПб., 1996–1997.
42. Соловьёв В.С. Несколько слов в защиту Петра Великого // Соловьёв В.С. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М., 1989.
43. Стариков Е.Н. Общество-казарма от фараонов до наших дней. Новосибирск, 1996.
44. Фонвизин М.А. Сочинения и письма: В 2 т. Т. 2. Иркутск, 1982.
45. Штелин Я. Подлинные анекдоты о Петре Великом // Пётр Великий: Воспоминания. Дневниковые записи. Анекдоты. СПб., 1993.
46. Эйдельман Н. Из потаённой истории России XVIII–XIX веков. М., 1993.

47. *Эйдельман Н.* Первый декабрист // *Эйдельман Н.* Удивительное поколение. Декабристы: лица и судьбы. СПб., 2001.
48. *Эйдельман Н.Я.* «Революция сверху» в России. М., 1989.

За окном

Петербург... похаживает на кордоне, охорашиваясь перед Европою, которую видит, но не слышит.
Николай Гоголь. Петербургские записки 1836 года

Для русских Петербург стал самым европейским городом страны, а для европейцев?

С воцарением Петра I совершенно другими стали не только жизнь миллионов его подданных, но и глубинные представления народа о мироустройстве. Новый государь произвёл революцию в русском сознании.

Прежде, при учении и с амвона, неустанно провозглашалось, что центр мира – «... Святая Русь, Третий Рим, противостоящий странам “неправильных”, еретических религий; в основе деления мира, его иерархии лежала конфессиональная принадлежность» [3. С. 41]. В этом мире Россия стояла на недосыгаемой вершине. Здесь и только здесь всё было истинно правильное – вера и церковь, государственное устройство и домостроевские устои, города и деревни, войско и оружие, одежда и телеги, лавки и сбитень.

Нечастые иностранцы, заезжавшие в далёкую Московию, были поражены самодовольством этого народа, который не знал и не желал знать, как живут в других государствах. Дипломат Адольф Лизек в «Сказаниях о посольстве от императора Римского Леопольда к великому царю московскому Алексею Михайловичу в 1675 году» констатировал: «Простой народ... презирает всё иностранное, а всё своё считает превосходным.» [1. С. 73]. Уже не раз упоминавшийся на этих страницах Фридрих-Христиан Вебер отмечал то же самое: в прошлом веке московиты были «самыми тщеславными и прегордыми из людей», «они смотрели на другие народы как на варваров», «их гордость заставляла думать о себе как о народе передовом» [3. С. 30].

В действительности страна начала европеизироваться ещё при Алексее Михайловиче. Но процесс этот шёл медленно, и народное сознание его не замечало, оставаясь в плену старых, традиционалистских и этноцентричных догм. Теперь же, при Петре, всё враз переменялось. Вдруг выяснилось, что Россия – вовсе не центр мироздания, потому как есть другие, «политичные», более передовые страны, обладающие сильным флотом и армией, развитой промышленностью, искусствами и науками. И больше того – не им у нас, а нам у них следует учиться. «Признание европейских народов более богатыми, процветающими, более сильными в военном отношении, превращение Европы в образец для подражания наносило сильнейший удар по базовым представлениям русского общества, видоизменяло саму систему скреплявших его идей», – подытоживает историк Ольга Агеева [3. С. 41–42]. Ещё бы, ведь необходимость брить бороду, носить чужую «европскую» одежду, переезжать в новый град Санктпетербурх (даже само название-то чужеземное!), строить себе там дом по иностранному образцу и жить в нём, как сроду не жил никто из предков, – всё это и многое другое было изменой вековому сознанию, заставляло отказаться от того, что вошло в плоть и кровь.

И всё ради чего? Чтобы принять то, чего прежде никто не видал, а, главное, не понимал, зачем это нужно? Многие московиты впали в отчаянье. Александр Пушкин в подготовительных текстах к «Истории Петра I» записал одно из фамильных преданий: «Жёны молодых людей, отправленных <царём> за море <учиться>, надели траур (синее платье)» [22. С. 226].

Однако недаром на Руси говорят: сила солому ломит. Под натиском петровской политики русское национальное сознание, не любящее середины, качнулось к крайностям. Одни так уверовали в благотворность всего зарубежного, что любое тамошнее новшество, вплоть

до моды на парики, а позже и причёски, стали почитать за образец для подражания («раз западное, значит хорошее»). Другие же, напротив, стали, чем дальше, тем крепче держаться за исконное даже тогда, когда оно явно никуда не годилось («своё всегда лучше, чем чужое»).

Эти две крайние противоположности сперва держались на обыденном уровне, но в конце концов, как и следовало ожидать, вылились в социокультурные движения – «западников» и «славянофилов». Но началось всё с Петра, который на берегах Невы распахнул окно в Европу.

* * *

А теперь вопрос из курса средней школы: кому принадлежит метафора, в которой Петербург сравнивается с окном в Европу? Уверен, большинство ответит – Пушкину. И ошибётся. В «Медном всаднике» после известных строк «Природой здесь нам суждено / В Европу прорубить окно...» стоит авторская сноска, а в конце поэмы – примечание, сделанное самим поэтом: «Альгаротти где-то сказал: “Petersbourg est la fenetre par laquelle la Russe regarde en Europe”» [23. Т. 4. С. 380, 398].

Как это ни удивительно, пушкинисты долгое время не уделяли внимания личности человека, благодаря которому Петербург обрёл один из своих наиболее загадочных образов. Едва ли не первым уже в 1990-е годы это сделал Михаил Талалай [4. С. 235–264].

Оказывается, уроженец Венеции Франческо Альгаротти (1712–1764) побывал в Петербурге в мае 1739 года вместе с английской делегацией, приглашённой на свадьбу Анны Леопольдовны (в ту пору ещё принцессы) с герцогом Антоном-Ульрихом Брауншвейгским. Несмотря на свои 27 лет, молодой итальянец был широко известен в Европе как литератор и учёный, член английской Королевской академии. Он водил знакомство с множеством выдающихся современников, включая Вольтера, прусского кронпринца Фридриха (будущего Фридриха Великого), а также российского посланника в Лондоне Антиоха Кантемира. Неудивительного, что столь крупная знаменитость стала гостем на самом пышном событии года да к тому же появилась там вместе с официальной делегацией своего государства.

С первого дня путешествия в далёкую страну Альгаротти вёл дневник, который изобиловал восторженными описаниями пышного церемониала бракосочетания, роскошных нарядов и лукулловских угощений. Однако, когда спустя двадцать лет старые записи превратились в книгу «Русские путешествия», в ней не нашлось места былым восхищениям. Можно только гадать, в чём скрывалась причина этой метаморфозы: то ли сказался возраст, в котором пылкая экзальтированность молодости уже неуместна, то ли повлияли некие веяния международной политики середины XVIII столетия...

Впрочем, в данном случае интересней иное: фраза Альгаротти, на которую ссылается Пушкин, в действительности звучала несколько иначе и вовсе не столь афористично. «Русские путешествия» были написаны в форме посланий, и первые восемь из них адресованы «милорду Херви, вице-канцлеру Англии», который ещё за полтора десятилетия до того переселился в мир иной. Так вот, в начале Письма IV говорится: «И что Вам сказать вначале, и что потом – об этом Городе, об этом, скажем так, большом окнище <gran finestrone>, недавно открытом на севере, из которого Россия смотрит в Европу?» [4. С. 251].

Но Михаил Талалай в предисловии к публикации писем Альгаротти приводит не менее интересное и образное высказывание другого автора той эпохи – лорда Балтимора, которое Альгаротти, возможно, знал и решил изменить на свой лад: «Петербург – это глаз России, которым она смотрит на цивилизованные страны, и, если этот глаз закрыть, Россия опять впадёт в полное варварство» [4. С. 236].

Впрочем, ещё интересней другое – почему чужая метафора вдруг так полюбилась Пушкину, что он занёс её в тетрадь с заметками к «Евгению Онегину», а затем, спу-

стя несколько лет, навсегда увековечил в знаменитом вступлении к «Медному всаднику»? Больше того, смысл сравнения, сделанного заезжим итальянцем, русский поэт никак не изменил. Казалось бы, в том самом вступлении к поэме – грандиозном гимне Петербургу – куда естественней была бы, скажем, «дверь», а ещё лучше «врата». Тем более при Петре существовал именно такой образ – ворота в Европу. В 1708 году Стефан Яворский в своей проповеди назвал Петербург «воротами водными царствия Российского, замком Кроншлотом крепко заключаемыми» [3. С. 68]. К тому же «именно ворота были изображены на гравированном плане Петербурга 1721–1723 гг., изданном в Нюрнберге И.Б. Хофманном. На фрагменте с “Картой течения Невы” женская фигура (Россия) открывала символические двери-ворота к Балтике, в Европу» [3. С. 68].

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.